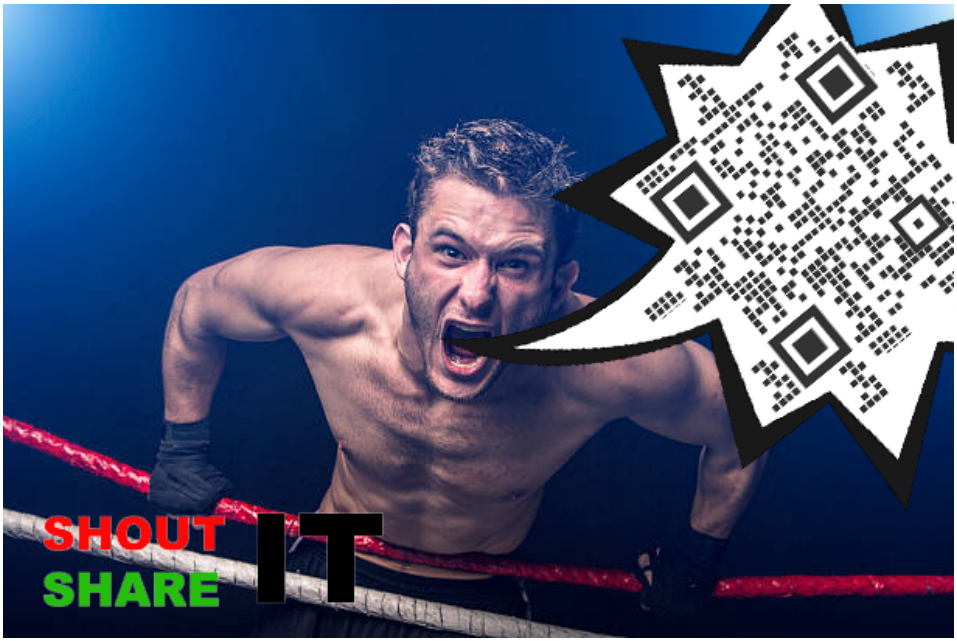
С.Е. Крыжановский

ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗ БУМАГ С.Е. КРЫЖАНОВСКОГО,
ПОСЛЕДНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сергея Ефимовича Крыжановского можно назвать «серым кардиналом» последних двух десятилетий Российской империи. Большой объем принципиально важных законопроектов был подготовлен лично Крыжановским, остававшимся в тени всесильных министров внутренних дел. Именно он разработал законы о выборах в Государственную думу и был ближайшим помощником Столыпина, воплощая его реформы.

Самому С. Е. Крыжановскому стать министром так и не удалось. Венцом его карьеры был пост товарища министра внутренних дел. В 1911 году он был назначен государственным секретарем и занимал эту должность вплоть до дня падения самодержавия… В эмиграции Крыжановский написал мемуары, открывая интереснейшие страницы истории России.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

- Сергей Крыжановский
  -
  - От издательства
  - Биография
  - Вступление
  - Государственная дума
  - Закон 3 июня 1907 года
  - Император Николай II
  - Моя встреча с императрицей Александрой Федоровной
  - Сипягин
  - П. А. Столыпин
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

Сергей Крыжановский Воспоминания: из бумаг последнего государственного секретаря Российской империи

© «Центрполиграф», 2022

От издательства

Сергея Ефимовича Крыжановского можно назвать «серым кардиналом» последних двух десятилетий Российской империи. Он происходил из небогатой и не знатной дворянской семьи – лишь его отец сумел дослужиться до чина, дающего право на потомственное дворянство. На карьеру, делать которую придется своим трудом, был настроен и сам Сергей Крыжановский. Поступив на математическое отделение Московского университета, он понял, что для карьеры лучше учиться на юриста, и не в Москве, а в Петербурге. Как многие молодые люди в середине 1880-х годов, Крыжановский вступил в один из студенческих кружков Петербургского университета. Кружок считался либеральным, но не революционным. Тем не менее Крыжановский, единственный из его участников, был арестован и провел несколько дней в полиции… Это событие заставило его переоценить свои планы. Соратник по кружку В. И. Вернадский говорил о Крыжановском: «Умный, энергичный, честолюбивый, он был от природы добрый. Хороший товарищ…», но вспоминал и «элементы цинизма и правильного скептицизма»…

Отход Крыжановского от кружка удивил его друзей. Но ведь он, пусть в шутку, называл себя будущим министром юстиции. А значит, его уделом должна была стать государственная служба и лозунгом – порядок в делах.

Начинать карьеру Крыжановскому пришлось в судебных органах – помощником секретаря в Петербургском окружном суде, судебным следователем в провинции; через десять лет он занял пост товарища (заместителя) прокурора Петербургского окружного суда. Усталость от безрадостной службы заставила Крыжановского изменить род занятий – он перешел в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. В ведении департамента был широкий круг вопросов – транспорт и пути сообщения, работа земств, тарифная политика и т. д. На этом посту проявился особый талант С. Е. Крыжановского – составлять тексты законопроектов и реформаторских программ так толково, что их без переделок можно было представить и на обсуждение Государственного совета, и на доклад к государю. И начальство высоко это ценило.

Трудно представить весь объем документов, которые были подготовлены лично Крыжановским, остававшимся в тени всесильных министров. Именно он разработал законы о выборах в Государственную думу – новый парламентский орган, аналогов которому не было в российской истории, и был ближайшим

помощником Столыпина, воплощая его реформы.

Министром С. Е. Крыжановскому стать не удалось. Венцом его карьеры был пост товарища министра внутренних дел. В 1911 году он был назначен государственным секретарем и занимал эту должность вплоть до дня падения самодержавия… После Февральской революции С. Е. Крыжановский сжег свой архив, все деловые бумаги и записи, чтобы они не попали в руки Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства и не дали повода обвинять в чем-то его самого и его сослуживцев. В начале 1918 года Крыжановский эмигрировал, скитался по нелегким дорогам русских беженцев, в 1920 году обосновался в Париже…

В эмиграции Крыжановский написал мемуары, восстанавливая документы и события по памяти, зарубежным архивам и попавшим в Европу советским изданиям и открывая интереснейшие страницы истории России.

Биография

Сергей Ефимович Крыжановский, сын небезызвестного западнорусского деятеля и писателя Е. М. Крыжановского, родился в Киеве 29 августа 1862 года и провел детство и молодость частью в Подольской губернии, частью в Седлице и Варшаве, где служил его отец, частью в Холмщине[1], где семья его владела небольшим имением. По окончании курса юридических наук в Петербургском университете поступил на службу по судебному ведомству, где занимал должности судебного следователя в округе Новгородского суда и товарища[2] прокурора при судах Великолуцком, Рижском и Петербургском. В 1896 году перешел на службу в Министерство внутренних дел на должность начальника отделения Хозяйственного департамента, ведавшего земскими и городскими делами, затем был чиновником особых поручений и вице-директором, а в 1904 году, при преобразовании департамента в Главное управление по делам местного хозяйства, занял в нем должность помощника начальника. В 1905 году состоял короткое время директором Первого департамента Министерства юстиции, а в 1906 году, в бытность министром внутренних дел П. Н. Дурново, был назначен товарищем министра внутренних дел, каковую должность занимал и при П. А. Столыпине. После смерти последнего был назначен государственным секретарем, а в 1917 году, с оставлением в занимаемой должности, – членом Государственного совета.

С 1907 года состоял в звании сенатора, а 1 января 1916 года был пожалован званием статс-секретаря его императорского величества.

За время службы в Министерстве внутренних дел занимался, главным образом, делами местного хозяйственного управления – земского и городского, а впоследствии – вопросами народного представительства и связанными с ними[3]; в качестве товарища министра ведал, помимо сего, делами общего управления, медицинской, ветеринарной, статистической и технико-строительной частями, равно как и духовными делами иностранных исповеданий. Специальностью его являлись дела законодательного свойства. Его перу принадлежат: 1) проекты положений о введении земских учреждений в западных и восточных губерниях империи (1897), не получившие осуществления вследствие принципиальной оппозиции С. Ю. Витте, в то время министра финансов; 2) известная записка И. Л. Горемыкина по вопросу о совместимости городского и сельского

самоуправления с самодержавным строем империи, являвшаяся ответом на записку С. Ю. Витте, в которой доказывалась невозможность этих двух начал; 3) положение об общественном управлении гор. Санкт-Петербурга, утвержденное в законодательном порядке в 1903 году; 4) положение о Главном управлении и о Совете по делам местного хозяйства и положение об управлении Главного врачебного инспектора и Медицинском совете, утвержденные в 1904 году; 5) всеподданнейший доклад министра внутренних дел князя Святополк-Мирского о намечавшихся им изменениям в государственном строе империи (1904), отвергнутый по настояниям С. Ю. Витте и К. П. Победоносцева; 6) положение о Государственной думе и о выборах в Думу, высочайше утвержденные 26 августа 1905 года; 7) проекты изменения правил о выборах в Думу, высочайше утвержденные в декабре 1905 года; 8) положение о преобразовании Государственного совета; 9) положение о старообрядческих и сектантских общинах, изданное в порядке статьи 87 Основных законов и впоследствии утвержденное в законодательном порядке; 10) закон от 7 июня 1907 года о выборах в Государственную думу; 11) проект о введении в империи областного управления (1908), не получивший движения; 12) положение о выделении Холмского края из административных пределов Польши, утвержденное в законодательном порядке в 1912 году, и разные другие меньшего значения.

В бытность государственным секретарем состоял председателем высочайше утвержденной комиссии по вопросу о выделении некоторых местностей из состава Финляндии, разрешенном комиссией в отрицательном смысле (1912–1913), председательствовал, заменяя И. Л. Горемыкина, в высочайше образованном в 1915 году совещании русских и польских членов законодательных палат об устройстве управления царством Польским по окончании войны, выработавшем проект, не получивший осуществления за изменением политических обстоятельств, и, наконец, был председателем высочайше образованной комиссии по пересмотру перечня дел, восходящих на высочайшее благовоззрение, заключения которой были высочайше утверждены и обращены к исполнению в 1916 году. Состоял также председателем отдела Верховного совета по призрению пострадавших в войне с Германией и членом Совещаний по обороне.

После революции проживал в Финляндии, а затем в июле 1918 года поехал в Киев, откуда, перед занятием его большевиками, в Одессу, затем – в порядке эвакуации – в

Константинополь и, наконец, в 1920 году переехал в Париж. Оставшись без всяких средств к существованию, зарабатывал свой хлеб разной канцелярской работой, редактировал в Париже исторический сборник «Русская летопись» (1921–1925), посвященный литературной защите старой, дореволюционной России и ее деятелей; составил в Париже довольно обширные записки о событиях, которым был свидетелем за время своей службы, и был одним из учредителей и председателем правления «Союза ревнителей памяти императора Николая II».

Стойкий националист, и по убеждениям, и по семейным традициям, верный слуга престола, в котором он видел единственно возможную в современной ему России форму правления, Сергей Ефимович был всегда сторонником умеренных течений политической мысли и врагом всяких привилегий, не оправдываемых пользой государства. Он был либерал и демократ в том смысле, что никогда в своих отношениях не делал разницы между людьми по их происхождению и положению; консерватор и аристократ – в том, что не признавал возможным ставить судьбу государства в зависимость от голосования толпы, а полагал, что для участия в управлении необходима наличность умственного и делового ценза и приверженность исторической традиции. Его не любили крайне правые и терпеть не могли левые.

Сергей Ефимович не имел никаких связей, ни наследственных, ни благоприобретенных, и всем служебным движением был обязан самому себе. Всю жизнь он чуждался того, что называется «светом» и «обществом», сторонился кругов и лиц, которые имели или которым приписывали закулисное влияние на судьбы людей и их служебную карьеру. Он не посещал ни одного из петербургских политических салонов, не бывал ни у графини Игнатьевой, ни у графини Клейнмихель, ни у генерала Богдановича, ни у других, им подобных. Никогда не видел ни князя Мещерского[4], ни Григория Распутина, ни даже А. А. Вырубовой. Никогда не водил знакомства и не поддерживал отношений с представителями печати. Никогда не переступил порога ни одного клуба.

Пользуясь нерасположением придворных кругов, которые почему-то считали его революционером, яркой враждебностью евреев, либеральной печати, князя Мещерского, доктора Дубровина[5] и кадетской партии, Сергей Ефимович имел много врагов и очень мало друзей. Но ни то ни другое его не смущало. По врожденной веселости характера, а отчасти и по свойственному ему легкомыслию, он не видел в том беды. Любил он только свою жену и Россию, и немногих близких, но всегда был верным другом и добрым товарищем. Из благ жизни он

ценил только книги и охоту, а шуму городов всегда предпочитал деревенский простор, лесную глушь и общество простых людей.

Вступление

Автор настоящих заметок служил императорской России, верным сыном которой был и ныне остается, благоговейную память о ней он унесет с собой в могилу.

В порядке государственной службы он не поднимался выше положений второстепенных, но по роду занятий близко знал всех заметных деятелей последнего царствования, во многих событиях принимал участие и многое видел. И если впечатления его, человека, перегруженного служебной работой, могли быть во многом односторонни и случайны, то старый строй не имел от него тайн, и в этом ценность его воспоминаний.

В 1912 году, под свежим впечатлением недавнего прошлого, он описал то, чему был свидетелем в годы перелома русской государственной жизни в 1904–1907 годах. Позднее он обработал эти записи на основе обширного, недоступного другим документального материала и изменил во многом некоторые из первоначально высказанных суждений. К прискорбию, и труд этот, и документы, на коих он был основан, погибли, когда в ночь на 2 марта 1917 года ему пришлось сжечь свой архив из опасения, чтобы он не попал в руки революционеров. Случайно, по недосмотру исполнителей, остался не уничтоженным в числе немногих других бумаг отдельно хранившийся первоначальный набросок заметок, который и был захвачен агентами Временного правительства. Набросок этот попал в Чрезвычайную следственную комиссию[6], откуда автору удалось извлечь его после захвата власти большевиками, он остался в России и был впоследствии уничтожен.

Находясь в беженстве во Франции, автор попытался воспроизвести свои записи по памяти, придав им более широкие рамки повести о прожитом; в чем мог, автор пополнил их общими соображениями и выводами, которые вытекали из опыта жизни. За отсутствием погибших, в большинстве не восстановимых документов, заметки эти в фактической части приближаются к редакции первоначального наброска с некоторыми последующими изменениями в характеристике лиц и событий.

Особые условия беженского существования в непрерывных заботах о куске хлеба, почти не оставляющих досуга, отразились невольно бессвязностью повествования и отсутствием надлежащей отделки записанного. Сознавая эти недостатки, автор не может ставить их себе в упрек.

За что автор любит императорскую Россию?

За что мы любим близких своих? За то, что они совершенны? Конечно нет. Если разобрать, то в каждом найдутся и недостатки, и смешные стороны, и даже пороки. Тем не менее мы их любим, потому что они наши, они свои, они дороги нам, и жить с другими мы не хотим. Но и в привязанности автора к старому есть и другое, есть убеждение, что этот строй, по существу своему, независимо от лиц был единственный обеспечивавший России силу и благоденствие и в настоящем, и в ближайшем будущем. Он был Россия, а с его падением и ее не стало.

Государственная дума

В 1904 году я состоял в должности помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства и ездил в Крым разбирать распри, возникшие между городским управлением и комиссией, восстанавливавшей линию обороны Севастополя в войну 1854–1855 годов. Вернувшись в Петербург в конце сентября, я застал большие перемены. Министром внутренних дел был назначен князь П. Д. Святополк-Мирский, уже объявивший к этому времени «эру доверия», а два товарища министра – Н. А. Зиновьев и А. С. Стишинский – были назначены, к их крайнему огорчению, в Государственный совет. Нового министра внутренних дел я совершенно не знал.

Кажется, 4 ноября я был неожиданно вызван к князю [Святополк-]Мирскому, который сообщил, что ему указали на меня как на лицо, могущее оказать содействие к составлению всеподданнейшего доклада, в котором он предполагает изложить, в развитие преподанных ему высочайших предначертаний, программу преобразования внутреннего строя империи. Кто именно указал, он не пояснил, но по некоторым словам я догадался, что это был князь Оболенский, бывший товарищем министра внутренних дел при И. Л. Горемыкине и некоторое время при Д. С. Сипягине.

Князь [Святополк-]Мирский долго и много говорил о трудном положении, в котором очутилась государственная власть, исчерпавшая все доступные ей способы борьбы с нарастающим революционным движением, и о необходимости пойти навстречу пожеланиям умеренной части оппозиции и сделать уступки, которые совместимы с сохранением существующего государственного строя и способны были бы оторвать либеральные элементы общества от революционных. На первом плане он ставил меры к укреплению законности, как отвечавшие с внешней стороны требованиям об установлении правового строя, и соответственное с сим изменение в учреждении Правительствующего сената. Он настойчиво указывал на неизвестную мне в то время брошюру Глинки-Янчевского о Сенате[7] как на выражение тех пожеланий, которые могли бы быть приняты правительством. Затем он говорил о необходимости облегчить тяжесть особых положений об охране и дать голосу населения выражение в законодательной деятельности. Как на путь к тому он указывал на дальнейшее развитие начал, положенных в основание незадолго до того проведенного при Плеве в законодательном порядке положения о

Совете и Главном управлении по делам местного хозяйства (Полное собрание законов, 22 марта 1904 г.) Проект этого закона был составлен мною, что, вероятно, и послужило ближайшим поводом дл привлечения к новой работе.

Наконец, князь [Святополк-]Мирский упомянул об облегчении религиозных ограничений и о пересмотре крестьянского законодательства и положений о земских и городских учреждениях, в смысле привлечения к участию в их деятельности более широких слоев населения.

Общий смысл его указаний сводился к желанию выразить во всеподданнейшем докладе приемлемый для правительства максимум пожеланий, высказывавшихся в обществе, в смысле освобождения личности от государственной опеки и расширения участия населения в делах управления. Вместе с тем он хотел, чтобы в докладе было проявлено самое осторожное отношение к существующему порядку вещей и была заранее отражена возможность нападок, основанных на несоответствии намечаемых мер началам нашего государственного строя. Он неоднократно упоминал о необходимости избегать всего, что могло бы подать повод к неправильному истолкованию его намерений, и избегать слов, которых не любит государь. К числу последних он относил и ходячий термин «интеллигенция», который, по его словам, государь не любил еще по преемству от императора Александра III и который поэтому следовало заменять каким-либо другим выражением. Приказано было также не касаться без крайности сословного строя и, в особенности, земских начальников. Князь [Святополк-]Мирский решительно отмежевался от всякой мысли о мерах к усилению аппарата власти, которые, казалось, должны были идти параллельно с расширением общественных свобод и снятием стеснений с самодеятельности общества. Он усиленно это подчеркивал и полагал в основание программы «доверие».

В таком именно виде смысл сказанного им сохранился в моей памяти. Вообще же слова князя были довольно сбивчивы, а мысли несколько туманны. Я не вынес даже убеждения в том, что он действительно имел какие-либо определенные указания от его величества.

В конце концов было решено, что я попытаюсь облечь в форму всеподданнейшего доклада все эти предположения, и тогда князь [Святополк-]Мирский примет на основе его свое окончательное решение.

Срок для составления доклада был двухнедельный, причем в части, касающейся особых положений об охране и административной ссылке, приказано было переговорить и согласиться с директором Департамента полиции А. А.

Лопухиным, а в части, касающейся печати, с Главным управлением по делам оной.

Поручение было трудное, но интересное. Я был молод и наивен, а потому принялся за дело с особым увлечением. Весь вечер пробродил я по набережной Невы, размышляя, с какого конца приступить к делу, чувствуя себя едва ли не новым Сперанским.

К назначенному сроку доклад был изготовлен. В нем не было, конечно, ничего оригинального, а были лишь сведены в систему те указанные князем [Святополк-]Мирским предположения, которые последнее время, так сказать, висели в воздухе. Единственной отличительной особенностью было, впервые в актах подобного рода, с решительностью высказанное убеждение в опасности дальнейшего сохранения общинного владения как источника смуты умов и в необходимости скорейшей замены его началом полной частной собственности на землю. Припомнить точно подробности после стольких лет и такой массы составленных и до, и после всевозможных законопроектов и записок, в значительной мере близких по предмету, я не могу, но сущность более или менее точно сохранилась в памяти.

Всеподданнейший доклад – очень обширный – начинался очерком изменений в общественном и экономическом строе России, последовавших в результате преобразований императора Александра II и нарождения новых классов с их психологической потребностью принять участие в управлении, неизбежно на этой ступени развития возникающей; далее следовало изложение причин, по которым государственная власть принуждена была относиться с особой осторожностью к нараставшим запросам, препятствий, которые в этом деле создавало революционное движение с его террористическими проявлениями и, наконец, соображения о своевременности пересмотра всех возникавших в связи с этим вопросов ради обеспечения внутреннего мира в стране. Засим следовала мотивировка предлагаемых мер. К числу их были отнесены:

а) укрепление начал законности в управлении, в каковых целях предполагалось дать бóльшую самостоятельность Правительствующему сенату и его контрольному наблюдению, вернув это установление к заветам, положенным в его основание Петром Великим, дав Сенату особого председателя, право рекомендации кандидатов на должность сенаторов, право самостоятельных ревизий и подчинив его ведению кодификационную часть;

б) укрепление в сознании сельского населения начала частной собственности на землю путем постепенного

упразднения общинного владения и утверждения за крестьянами общинных земель на частном праве, а также сближение правового положения крестьян с таковым же положением прочих обывателей;

в) расширение пределом веротерпимости и свободы совести, прежде всего в отношении старообрядцев, и снятие всякого рода религиозных и национальных ограничений, поскольку это не противно будет интересам русской державности;

г) облегчение положения печати путем пересмотра законов о ней в смысле подчинения нарушений, совершаемых путем печати, ведению общих судов, с отменой административных карт;

д) ограничение объема применяемых исключительных положений и административной высылки; и, наконец,

е) пересмотр положений о земских и городских учреждениях – в видах привлечения к делам местного устройства более широких кругов населения и предоставления этим учреждениям большей хозяйственной самостоятельности.

В заключение намечены были предположения о порядке привлечения представителей населения к участию в законодательной деятельности. В этих видах предположено было ввести в состав Государственного совета, на равных основаниях с членами, по высочайшему назначению, выборных представителей от губернских земских собраний и городских дум более крупных городов. Имелось в виду, что предполагавшееся распространение земских общественных учреждений на всю империю и расширение слоев населения, в них представленных, будут иметь следствием и постепенное расширение участия населения в законодательной деятельности как в географическом отношении, так и в смысле углубления социального базиса.

К всеподданнейшему докладу был приложен и проект высочайшего манифеста, возвещавшего намечаемые меры и устанавливающего порядок разработки соответствующих законоположений особой комиссией, с постановкой этой комиссии, как и Государственному совету, усиленному членам по выборам, самых коротких сроков для рассмотрения проектов и предоставления их на высочайшее благовоззрение.

За все две недели, данные на выполнение работы, я князя [Святополк-]Мирского не видел. А. А. Лопухин принес составленные им соображения, касавшиеся положений об охране, и передавал подробности своего по этому поводу разговора со [Святополк-] Мирским. Лопухин был настроен очень воинственно против «произвола» и, вспоминая о прошлом, поносил Плеве[8], при котором сделал свою полицейскую карьеру. «Всякий раз, как мне приходилось говорить с Плеве, – сказал он, – мне хотелось

схватить со стола письменный прибор и размозжить ему голову». Чувство, выраженное в этой фразе, было мне понятно, так как я считаю Плеве одной из самых отталкивающих личностей, с которыми мне приходилось соприкасаться, но слова Лопухина меня удивили, так как они резко противоречили тем близким отношениям, которые существовали между ним и Плеве.

По изготовлении проект всеподданнейшего доклада был прочитан мной князю [Святополк-]Мирскому в присутствии приглашенного для сего Лопухина, который успел уже, видимо, установить добрые отношения с новым министром. Заключительная часть доклада замечаний со стороны князя не вызывала, в исторической же части он признал нужным сделать некоторые изменения. В проекте было сказано, между прочим, что начиная с 60-х годов в известной части общества стали замечаться явно выраженные конституционные течения, которые, колеблясь и видоизменяясь, получали все большее развитие и заслоняли собою течения славянофильские. Сказано это было очень осторожно, но князь признал нужным совсем затушевать и сказать лишь глухо о стремлении общества принять участие в делах государственного управления или что-то в этом роде, теперь уже точно не припомню. Одним словом, он старался отгородиться от возможного впечатления, что он связывает свои предположения в каком-либо отношении с указанным течением.

Так как все дело приказано было сохранять в строжайшей тайне и мог полагаться только на вполне надежного переписчика, то переделка доклада и его переписка заняли еще дня три, после чего, следовательно, около 20–22 ноября доклад был мною вторично прочитан князю [Святополк-]Мирскому, причем на этот раз кроме Лопухина присутствовал еще и Э. А. Ватаци, директор Департамента общих дел, человек близкий [Святополк-]Мирскому по прежней службе в западном крае. Замечаний доклад не вызвал, и я тут же передал его [Святополк-]Мирскому вместе с проектом манифеста, также им одобренным, в двух редакциях, отличавшихся только заключительной, не имевшей значения фразой. На следующий день князь [Святополк-]Мирский повез их государю.

Государь, видимо, не торопился с рассмотрением доклада, так как, по словам князя, пять дней спустя сказал ему, что еще не все прочитал. Еще через два-три дня я узнал от [Святополк-]Мирского, что государю угодно было для обсуждения его предположений созвать совещание в составе некоторых министров и графа Витте, как председателя Комитета министров. В совещание это приглашены были, помнится, еще двое великих князей – Владимир и Сергей Александровичи[9], а также Э. В.

Фриш[10], граф Сольский[11] и А. С. Танеев[12]. Князь [Святополк-]Мирский сказал мне при этом, что, по словам государя, он не собирается приглашать в совещание К. П. Победоносцева, чему [Святополк-]Мирский очень радовался, так как со стороны Победоносцева ожидал принципиального несогласия на осуществление намеченных в докладе предположений. На вопрос, не следует ли отпечатать всеподданнейший доклад и разослать участникам совещания для предварительного ознакомления, без чего им трудно будет в нем разобраться ввиду обилия затрагиваемых вопросов, князь [Святополк-]Мирский сказал, что это невозможно, так как совещание состоится, вероятно, на следующий же день, и что он доложит все на словах, а если будет нужно, то прочтет и самый доклад, и во всяком случае – проект манифеста.

Спустя еще дня два или три меня вечером вызвал князь [Святополк-]Мирский. Он только что вернулся из совещания (было, кажется, два заседания) и находился в очень подавленном состоянии. Он сообщил, что дело провалилось и не остается ничего более, как приступить к «постройке новых тюрем» и вообще усилить репрессии. По словам [Святополк-] Мирского, государь, изменив свои первоначальные предположения, вызвал в совещание К. П. Победоносцева, послав ему утром записку такого содержания: «Мы запутались, приезжайте, помогите разобраться». Главным, однако, оппонентом явился в совещании не Победоносцев, как того ожидал князь [Святополк-]Мирский, а к изумлению его, С. Ю. Витте, причем все острие своих возражений и нападок он сосредоточил на предположениях о включении выборных членов в состав Государственного совета, доказывая, что эта мера очень опасная, чреватая неизбежными последствиями, и, являясь вступлением на путь к конституционному строю, грозила бы гибелью России. Витте говорил резко и с большой настойчивостью, и, по впечатлениям [Святополк-]Мирского, желал во что бы то ни было вырвать дело у него из рук и оставить себе, чего, как известно, и достиг, получив в этом же заседании высочайшее поручение рассмотреть в Комитете министров вопрос о намечаемых преобразованиях и взяв у [Святополк-]Мирского его всеподданнейший доклад и проект манифеста. Вообще из рассказа [Святополк-]Мирского было ясно, что Витте его просто затоптал и отшиб от дела. [Святополк-]Мирский понимал, что его роль как министра внутренних дел кончена, что вскоре и оправдалось. Он передавал много подробностей о ходе заседания и о роли и отношении к нему отдельных участников, но, не имея под рукой своих заметок того времени, затрудняюсь их воспроизводить, чтобы не впасть в

неточности. Впечатление от слышанного у меня осталось такое, что члены совещания, не будучи предварительно ознакомлены с предметом предстоящих обсуждений, были захвачены врасплох, суждения шли вразброд, вне ясных рамок, чем и воспользовался Витте для своих целей.

Я откланялся князю [Святополк-]Мирскому и более его как министра внутренних дел не видел[13].

Впоследствии, в 1906 году, по вступлении своем в должность председателя Совета министров, И. Л. Горемыкин потребовал от меня копию всеподданнейшего доклада князя [Святополк-]Мирского и, видимо, имел о нем какие-то разговоры с государем, так как его величество передал эту именно копию доклада вместе с другими бумагами П. А. Столыпину, когда последний заменил И. Л. Горемыкина. В докладе некоторые места оказались высочайше подчеркнутыми и имели на себе высочайшие отметки; многие из намеченных во всеподданнейшем докладе предположений князя [Святополк-]Мирского осуществлены были той же осенью Столыпиным путем издания, в порядке 87-й статьи Основных государственных законов, соответствующих высочайших указов.

Копии доклада были, кроме того, еще ранее даны князю А. Д. Оболенскому и А. В. Кривошеину[14], которые просили их для своих коллекций. Копия имеется также в архиве Государственного совета в деле, в котором мною, в бытность государственным секретарем, были объединены все материалы, относившиеся к ходу работ по составлению положений о Государственной думе и Государственном совете в новом его составе.

В начале 1905 года А. А. Хвостов, состоявший тогда товарищем министра юстиции, мой бывший начальник по хозяйственному департаменту, уговорил меня перейти на должность директора Первого департамента Министерства юстиции. Уступая его уговорам, я согласился и скоро раскаялся. После привольной жизни в Министерстве внутренних дел, с его широкими интересами, ведомство юстиции, от которого я успел уже за десять лет отвыкнуть, с его мелочной, формальной казуистикой, показалось мне убийственно скучным. Кроме того, в центральном управлении пришлось столкнуться с нравами и обычаями, прежде мне совершенно неизвестными. Министерство юстиции было сравнительно маленькое, а потому личные отношения занимали в нем гораздо больше места и имели особое значение, а с ними было связано и низкопоклонство перед начальством, проявлявшееся в крайне стеснительной форме. Было как-то дико видеть почтенных председателей судебных палат и таковых же прокуроров, людей, которых по условиям прежней

своей судебной службы в глухой провинции я привык так высоко ставить, которые стремились под тем или иным предлогом проникнуть к директору департамента, мальчику по сравнению с ними, и вели заискивающие, сладкие речи без всякой даже практической цели, ибо в Первом департаменте были сосредоточены дела юрисконсультские, законодательные и организационные, и на личное положение служащих в судебных учреждениях директор его никакого влияния иметь не мог. С другой стороны, и условия службы с С. С. Манухиным как министром юстиции были очень нудны. Сам он был прекрасный человек, превосходный юрист и очень приятный начальник, но обладал крайне мелочным и нерешительным характером, страшно боялся провиниться перед другими, более сильными ведомствами, и этим доводил своих подчиненных нередко до отчаяния. Помню, как в один из первых же дней в департамент поступил от Министерства внутренних дел, по Департаменту полиции, запрос о передаче в военный суд какого-то дела. Дело было самое незначительное, и в нем не имелось налицо признаков, требуемых законом для передачи военному суду. В этом смысле и был составлен ответ, представленный к подписанию министра. С. С. Манухин впал в колебание, долго обсуждал и, наконец, убедившись, что иного исхода нет, согласился с мнением департамента, но оставил бумагу у себя, чтобы еще подумать. Через час у него возникли новые сомнения, и он созвал на совещание товарища министра, обоих директоров и юрисконсульта. Судили, рядили и пришли к тому же выводу, но опять-таки Манухин бумаги не подписал.

Вернулся я домой со службы часов в семь, а в десять был вызван к министру на дом, где оказалось созванным новое по тому же предмету совещание при участии сенаторов Н. С. Таганцева и А. М. Кузь-минского, которые, ознакомившись с делом, пришли к такому же заключению, что и департамент. Все-таки и после этого С. С. Манухин бумаги не подписал, а решил взять ее с собой на следующий день в заседание Совета министров, чтобы лично объяснить министру внутренних дел мотивы, по которым он не может выразить согласия на предложения его ведомства. Оказалось, конечно, как и следовало ожидать, что министр внутренних дел о переписке этой и не слышал и никаких претензий по поводу проектируемого отзыва не имел, найдя его и со своей стороны совершенно правильным. Только тогда С. С. Манухин подписал наконец бумагу. Такие случаи повторялись очень часто.

Другим скучным занятием было составление для министра всеподданнейшего доклада. Так как дела министерства по

свойству своему мало в чем могли привлекать внимание государя, и единственно, чем министр мог надеяться заинтересовать его величество, были представления о помиловании осужденных (докладывались, конечно, лишь два-три, а остальные государь разрешал по доверию к министру), то С. С. Манухин старался выбирать для доклада такие дела, которые, не будучи слишком сложными или длинными, могли в то же время вызвать улыбку своим содержанием или какими-либо забавными созвучиями. И вот происходили долгие объяснения всякий раз, когда приходилось подбирать дела для всеподданнейшего доклада, причем соображения и колебания Сергея Сергеевича о том, какое дело пустить вперед, бывали бесконечны. Он ужасно радовался, когда попадались смешные фамилии обвиненных или потерпевших.

Копаться во всей этой трухе было ужасно скучно, мне казалось, что я сижу в глубоком погребе, а за стенами тем временем гремит и сверкает жизнь. Я заскучал и через пять недель вернулся обратно в Министерство внутренних дел на свое старое место, которое, по счастью, оставалось незамещенным, заслужив тем самым в глазах солидных людей репутацию человека вздорного и легкомысленного. Добрейший А. А. Хвостов с год после этого на меня дулся, но потом простил.

Оказалось, однако, что я поступил совсем не легкомысленно, и мое стремление вернуться в живое ведомство было правильно. Спустя, кажется, неделю я был вызван Булыгиным, сменившим князя [Святополк-]Мирского в должности министра внутренних дел, и назначен в состав образованного им совещания, которое в исполнение высочайшего рескрипта, последовавшего на его, Булыгина, имя, должно было подготовить предположения о призвании выборных от населения лиц в делах законодательства. Мне он поручил и делопроизводство этого совещания. Впоследствии, сойдясь ближе с Булыгиным, я узнал, что привлечен был к этому делу по совету С. Ю. Витте, который, однако, при этом предупредил Булыгина: «Смотрите за ним внимательно, чтобы не стал болтать журналистам», – странное обвинение, ибо с кем с кем, а с журналистами я не водился, да и вверяемые мне служебные тайны умел хранить тверже, чем кто-либо.

Явившись в день, назначенный для первого заседания, состоявшегося в приемной комнате перед кабинетом министра внутренних дел в доме на Фонтанке, я застал там: профессора Санкт-Петербургского университета по кафедре государственного права И. М. Ивановского, Ф. Д. Самарина[15], директора канцелярии Министерства финансов А. И. Путилова и помощника

статс-секретаря Государственной канцелярии А. Ф. Трепова. Таков был состав подготовительного совещания, имевшего содействовать Булыгину в исполнении высочайше возложенного на него поручения.

Начались длинные и нудные разговоры. Булыгин к возложенному на него поручению относился с видимой неохотой, как бы не допуская, что из всего этого может нечто выйти, и не знал, с чего начать. Два первых заседания он занимал нас рассказами о том, что происходило в Комитете министров, который в те дни обсуждал предположения о порядке осуществления высочайшего указа от 12 декабря 1904 г.[16]; по обычаю своему, Булыгин спокойно удивлялся и слегка иронизировал.

Ф. Д. Самарин первый открыл обсуждение дела, ради которого нас собрали, сказал длинное слово по существу вопроса. Его мнение сводилось к тому, что наилучшим способом осуществления высочайших предуказаний о привлечении выборных от населения к участию в делах законодательства было бы учреждение для сего губернских совещаний из представителей от сословий, в зависимости от свойства подлежащих рассмотрению правительственных предположений, отзывы каковых совещаний получили бы затем окончательную разработку в центре. Это было явное стремление похоронить несимпатичное ему начинание, законопатив самую идею в медвежьи углы. Не встретив сочувствия своему мнению, Ф. Д. Самарин на следующие заседания более не являлся.

К началу третьего заседания одним из участников был составлен перечень возникающих из поставленной задачи вопросов и положен перед Булыгиным. Открыв заседание и заметив перед собою листок, на котором перечень был изложен, Булыгин повертел его в руках, даже не спросив, откуда он взялся, и стал в дальнейшем придерживаться последовательности намеченных в перечне вопросов. Дело двинулось, и после нескольких еще заседаний Булыгин поручил мне свести результаты в форму положения об учреждении Государственной думы.

Стараясь связаться с традицией и, по возможности, избегать упрека в копировании с западных образцов, я взял за образец проект учреждения Государственной думы, составленный в свое время М. М. Сперанским, с его довольно сложной регламентацией и подразделениями. Существенной особенностью этого плана, весьма подходившей для молодого представительного учреждения, являлось перенесение центра тяжести работы в образуемые в составе Думы отделы по главным отраслям дел

государственного устроения и ограничение роли общих собраний с их неизбежной риторикой. Составленный на этих основаниях проект был подвергнут обсуждению в совещании, причем как Булыгин, так и мы, его сотрудники, исходили из убеждения, что проект является лишь попыткой примерной иллюстрации одной из возможных форм участия выборных от населения в делах законодательства, могущей служить как бы канвой для суждений того высшего совещания, которое, как тогда предполагалось, имело выработать окончательный проект. Поэтому булыгинское совещание мало посвятило внимания отделке проекта, и последний был принят почти в том же виде, в каком был наскоро составлен.

Единственное, что возбудило споры, – это право Государственной думы предъявлять правительству запросы по предметам управления, так как оно не вытекало из предуказаний высочайшего рескрипта и являлось его расширением, и притом в направлении, чреватом последствиями. Булыгин очень на это предположение морщился (и был, следует признать, вполне прав), но мнение молодежи одержало верх, и право это было сохранено в проекте, но ограничено лишь запросами о незакономерности действий, не распространяясь на их целесообразность, то есть стало конкурировать как бы с правами, принадлежащими Сенату; практика показала, что оно в руках Думы превратилось в способ агитации, а отнюдь не надзора за законностью, ибо ни в одном случае Дума не решилась дать запросу законного последствия в форме доведения своего мнения до высоты престола, а ограничивалась лишь демонстративными суждениями, рассчитанными единственно на возбуждение общественного мнения против правительства.

Покончив с устройством Думы, перешли к порядку выборов. Самое простое и целесообразное решение было бы опереться на существующие учреждения – уездные земства, выражавшие органическое представительство населения, и от них начать линию выборов в Думу. Избрание членов Думы через посредство уездных земств обеспечивало бы большую политическую зрелость избираемых, в состав которых при этом условии не проникали бы в значительном числе лица малокультурные, и в Думе создавалось бы представительство деловое, а не только партийное.

К сожалению, Булыгин не решился стать на эту точку зрения, так как, с одной стороны, опасался, что Дума будет слишком связана с местными учреждениями и внесет в них политику, а с другой стороны, что не получит достаточного участия в Думе крестьянство, которое в земских собраниях мало представлено и

не привыкло иметь голос.

Так как, однако, при географических и бытовых условиях России система прямых выборов не могла бы привести к разумным результатам, то Булыгин склонился к мысли создать специальную систему выборов по ступеням, во всем схожую с земской, но с другим распределением долей участий в ней отдельных разрядов населения, и с тем, чтобы образованное по подобию уездного земского собрания уездное избирательное собрание избирало из своей среды выборщиков в собрание губернское, а последнее избирало бы положенное на губернию число членов Думы. Система эта грешила, конечно, большой сложностью, но зато обеспечивала избрание в выборщики от уездов лиц, близко известных местному населению, вероятно, тех же самых, которые состояли земскими гласными, а следовательно, обладали достаточной степенью подготовки и понимания.

По руководству этими соображениями были составлены оба положения и объяснительная к ним записка, в которой часть, касающаяся порядка рассмотрения и утверждения государственного бюджета, была изложена А. И. Путиловым на основании указаний министра финансов, остальное мною.

В заключительной части записки были приведены вытекающие из дела общие вопросы, подлежавшие, по мысли составителей, разрешению предварительно рассмотрения самих проектов, которые, как уже упоминал, почитались лишь как бы попыткой иллюстрации этих основных вопросов, не более. Иной постановки, конечно, и не могло быть ввиду крайне слабого авторитета образованного Булыгиным совещания, да и его самого, для решения в порядке проекта, вопроса столь огромной государственной важности.

К проектам приложены были составленные в Министерстве внутренних дел справки. Справки эти были составлены И. Я. Гурляндом, откуда и пошел, вероятно, слух о его участии в трудах булыгинского совещания и в дальнейших работах по Думе. В действительности же его участие, помимо составления этих справок, касавшихся истории Земских соборов Древней Руси и прежних попыток привлечения выборных в тех или иных формах деятельности, выразилось лишь в командировке его министром внутренних дел на Верхнее Поволжье для передачи губернаторам некоторых указаний по выборам в Первую Думу и, кажется, в каких-то подобных же командировках по выборам в Четвертую Думу (я в этих выборах участия не принимал). Приложены были также поступившие от разных лиц и учреждений наиболее разработанные проекты организации народного

представительства, равно как и краткая характеристика бесчисленных по этому предмету записок меньшего значения (числом более двухсот), которыми отозвалось общество на призыв правительства о сообщении всякого рода предположений, клонящихся к общей пользе.

Проекта распределения долей участия отдельных разрядов населения в уездных избирательных собраниях составлено не было, так как предполагалось, что высшая инстанция даст по этому поводу руководящие указания, в соответствии с которыми и будет произведена разверстка.

Проекты и объяснительная записка были изготовлены к концу мая, отпечатаны и представлены Булыгиным его величеству. Долго о них не было слышно. Булыгин, по его словам, несколько раз напоминал государю, и, кажется, в конце июня последовало высочайшее соизволение на рассмотрение их в Особом совещании под председательством графа Д. М. Сольского. Это был тот же, в сущности, Кабинет министров, но лишь усиленный некоторыми лицами. (В первых двух заседаниях присутствовал и К. П. Победоносцев, он сидел молча, по большей части облокотившись обеими руками на стол и закрыв ладонями лицо. Он имел вид мертвеца. «Господи, уже смердит», – сказал про него кто-то из присутствующих.)

Делопроизводство совещания было возложено на статс-секретаря Государственной канцелярии А. И. Кобыляцкого, с которым сотрудничали А. И. Путилов и я.

Заседания происходили в Мариинском дворце, и с места же дело получило совершенно неожиданное направление. Вместо того чтобы войти в обсуждение общих вопросов, сформулированных с этой целью в заключительной части представления, и установить руководящие начала, совещание, увидев пред собой готовый проект, прямо перешло к постатейному его рассмотрению. Первым выступил С. Ю. Витте, который обрушился на предположение об устранении от участия в выборах евреев (как устранены они были от участия в земских и городских учреждениях), а затем, не встретив отпора, стал развивать мысль, столь много причинившую вреда в дальнейшем, что весь успех задуманного дела зависит от того, в какой мере примут участие в народном представительстве крестьяне, как основная стихия русской государственности, и в какой степени будут выражены в Думе их особливые интересы. Он настаивал в соответствии с сим, чтобы крестьянам было предоставлено самое широкое участие в выборах. Эта мысль стала затем господствующей в совещании. Сам же Витте скоро уехал в Америку и в дальнейшем обсуждении дела мало принимал

участия, кроме, кажется, двух последних заседаний.

Суждения совещания приняли запутанное и непоследовательное направление, что в немалой мере объяснялось старческим расслаблением председателя, графа Сольского. Все понимали, что дело сводится к фактическому ограничению самодержавия, но делали вид, что этого не замечают. У представленного Булыгиным проекта не оказалось к тому же хозяина. Булыгин, поглаживая, по обычаю своему, желудок, молчал и никаких разъяснений не делал; казалось, что он отправлял повинность, не допуская мысли, что из проекта может что-либо выйти.

Члены совещания в большинстве мало были знакомы и с проектом, и с самим вопросом, а потому суждения носили совершенно случайный характер. Спорили об отдельных статьях, о мелочах, принимали поправки, совершенно не согласованные с предшествующими решениями и не соображавшиеся с постановлениями, о которых речь была впереди; дойдя до последних и приняв их без изменений, начинали изменять свои прежние поправки и делать новые. Когда дошли до конца, стали пересматривать снова, делая новые частичные изменения. Так было три раза, и когда последняя, принятая совещанием редакция была разослана на замечания и собрались, чтобы ее окончательно принять, то граф Сольский, открывая заседание, заявил, что, пересмотрев результаты работы совещания и сличив с первоначальным проектом, представленным Булыгиным, он пришел к убеждению, что проект был лучше принятой совещанием редакции, а потому предложил еще раз пересмотреть работу и вернуться, где окажется нужным, к первоначальному тексту. Так и сделали. Началось новое рассмотрение, четвертое по счету, и в результате большинство статей первоначального текста «Учреждения Государственной думы» и «Положения о выборах» в Думу были восстановлены с той лишь разницей, что в части, касавшейся порядка выборов, совещание, в видах упрощения избирательной процедуры, выпустило уездное избирательное собрание, соответствовавшее уездному земскому собранию, и положило, что выборщики от отдельных уездных курий непосредственно входят в состав губернского избирательного собрания.

Это был удар в самое сердце булыгинской системы. Упраздняя уездное избирательное собрание, в котором выборщики от отдельных разрядов населения должны были сливаться в одно бытовое целое и могли бы послать в губернское собрание лиц, представляющих весь уезд в совокупности и всему населению знакомых, поправка приводила в губернское собрание

выборщиков от отдельных разрядов уездного населения, которые неизбежно должны были группироваться там на основе классового признака, открывая этим (как оно и оказалось на деле) полный простор агитации, исходившей из действительной или предполагаемой розни классовых интересов. Вместо представительства национального получалось представительство отдельных, борющихся между собою интересов. Весь проект был испорчен, но Булыгин молчал, и совещание даже не остановилось на приведенных соображениях.

После заседания зашел разговор, почему Булыгин не отстаивал своего проекта. Он соглашался, что надо было отстаивать, но кончил тем, что сказал: «Да не все ли равно?» – и так на этом и уперся.

(Старые дворянские фамилии нередко очень верно определяли основные черты характера их носителей. К числу их относился и Булыгин – подлинная «булыга», грузно лежавшая на месте, под которую и вода не текла; по существу же это был очень хороший и порядочный человек и далеко не глупый.)

Еще хуже вышло с системой цензов и распределением выборщиков. В них был корень дела. От того, как будут распределены выборщики между отдельными разрядами избирателей, зависел состав Думы, а следовательно, и характер ее деятельности. Не подлежит сомнению, что на заре народного представительства нельзя было образовывать Государственную думу на началах пропорциональности числа выборщиков, численности или состоятельности отдельных разрядов населения, а надо было принять во внимание и степень их государственной подготовленности и способности разбираться в подлежащих ведению Думы делах; нельзя было заполнять Государственную думу теми слоями населения, в которых даже простая грамотность не является общим правилом. Но все эти вопросы совершенно не остановили на себе внимание совещания. Дело близилось к концу и все устали. Решили, что распределение выборщиков произведено будет в соответствии с оценочной стоимостью имуществ, предоставляемых каждым разрядом населения, и только.

Чтобы поправить дело, Булыгиным было внесено наскоро составленное мною особое представление по этому вопросу. В нем были приведены данные, свидетельствовавшие, что при отсутствии ограничений крестьяне получат в губернских избирательных собраниях, помимо преобладания, еще и двойное представительство, участвуя в выборах как в составе особых крестьянских съездов по признаку владения надельной землей, так и в составе съездов частных землевладельцев по владению

купчей землей. Между тем местами (например, в некоторых уездах Тверской губернии), даже в среде крупных землевладельцев, крестьяне уже составляли в то время большинство. Отсюда ясно – [крестьяне] пройдут в губернские избирательные собрания в большинстве настолько подавляющим, что получат во многих местах возможность провести в члены Государственной думы лиц исключительно из своей среды (что, как известно, и случилось), заполнят Думу, которая при этом условии станет совершенно неработоспособным органом – игрушкой в руках честолюбцев и агитаторов.

Записка отмечала всю опасность такого положения. Если бы, говорилось в ней, предстояло созвать нечто вроде Земского собора для решения одного какого-либо, доступного пониманию масс вопроса или для выяснения общенародного настроения, то, пожалуй, можно было бы оправдать предоставление в нем столь значительного участия крестьянам. Но раз дело идет о создании постоянного законодательного учреждения, деятельность которого будет охватывать все стороны государственной жизни, то спрашивается, что будут делать в нем малограмотные, а то и совсем неграмотные члены-крестьяне, которые не только не в состоянии разобраться в делах законодательства, но даже и прочитать заголовки законодательных представлений. Нет сомнения, что большая доля крестьянства будет элементом не только лишним, но и крайне опасным, ибо станет легкой добычей социальных агитаторов и политических честолюбцев, которые не замедлят захватить их в руки на том единственном вопросе, какой их интересует и им понятен, – на вопросе о земле, – и решать они будут этот вопрос в порядке страсти, а отнюдь не разумного рассуждения.

Записка эта смутила графа Сольского, который, впрочем, едва ли не один с нею ознакомился. Он пробовал было дать решениям иной оборот, но никто его не поддержал; Булыгин и тут промолчал, и совещание осталось при ранее принятом формальном решении.

Должен сознаться, что, составляя в дальнейшем на указанных совещанием основаниях распределение выборщиков, правильность которого никто, конечно, не проверял, я приложил все старания, чтобы исчислить крестьянских выборщиков в возможно скромных цифрах и тем сократить влияние на выборы крестьянского элемента всюду, кроме западных губерний, где он мог служить противовесом влиянию крупных польских землевладельцев, но, конечно, это был лишь паллиатив, не имевший значительного влияния на результаты выборов.

Вообще рассмотрение совещанием этого дела оставило

впечатление полной растерянности и крайне легкомысленного отношения большинства участников. Совещание не проявило ни внимания, ни прозорливости, ни сознания всей важности предпринятого дела. Плыли как бы по течению, и только. И в этом случае, как и во всех других, ярко сказалась основная язва нашего старого бюрократического строя – засилье на вершинах власти старцев. На повороте государственной жизни судьба важнейшего дела оказалась в руках расслабленного старика графа Сольского, так же как впоследствии, в трагические годы и дни, когда погибала Россия, судьба ее аппарата находилась в руках других, печальной памяти, бессильных старцев – Горемыкина, Штюрмера, князя Голицына. Усталые телесно и душевно, люди эти жили далеким прошлым, не способны были ни к творчеству, ни к порыву и едва ли не ко всему были равнодушны, кроме забот о сохранении своего положения и покоя; клейкой замазкой закупоривали они продушины государственной машины, свинцовой тяжестью висели на рычагах и колесах, все и вся мертвили, а между тем слова их почитались за откровение. По характеру своему старцем был и Булыгин.

Одобренный совещанием графа Сольского, проект был затем подвергнут обсуждению в Особом совещании из высших сановников под личным председательствованием государя. Делопроизводство этого высокого собрания было возложено на государственного секретаря, барона Ю. А. Икскуля, и я в нем участия не принимал, почему о происходившем там знаю лишь из рассказов. Совещание никаких почти изменений, кроме редакционных, в проект не внесло. О ходе суждений составлена была делопроизводством частная запись, никем из членов не просмотренная, которая была отпечатана в ограниченном количестве экземпляров Государственной канцелярией, а после революции перепечатана с гнусными комментариями и пущена в продажу при Временном правительстве.

Не меньший хаос сказался в мнениях общества и печати после опубликования закона о Государственной думе[17]. Как водится, он не удовлетворил никого. Радикальная часть общества – а она у нас всегда была многочисленна, ибо радикальные решения наименее требуют знания и опыта, – ничем не могла удовлетвориться, что не приближалось к Учредительному собранию, и с реальностями считаться не хотела. Остальные сознательно и бессознательно ей подпевали. Красноречивые статьи Меньшикова[18] увлекали многих, а он хотел видеть в будущей Государственной думе какой-то ареопаг мудрецов, в котором непременно заседали бы Лев Толстой, Короленко и т. п. Никто из них не хотел понять, что переход от одного строя к

другому есть дело и технически, и психологически очень сложное, особенно болезненное для носителя верховной власти, связанного и вековыми традициями, и принесенной при коронации клятвой, и что единственный возможный в этом деле путь есть путь компромиссов, и полумер, и половинчатых решений… С другой стороны, правые относились явно враждебно к новорожденному учреждению, усматривая в нем, не без оснований, переходную ступень к конституционному, а затем и парламентскому строю. И всё ругали.

После издания 6 августа «Учреждения Государственной думы» и «Положения о выборах в Думу» начались работы того же совещания графа Сольского по установлению правил применения закона о выборах к окраинам империи. Соответствующие проекты были составлены при участии В. С. Налбандова, в то время чиновника Главного управления по делам местного хозяйства, впоследствии министра торговли в правительстве генерала Врангеля в Крыму, очень способного человека. Они имели формальный характер и проходили чисто механически. Некоторое оживление внесло только участие в обсуждении правил, относившихся к губерниям царства Польского, приглашенного в качестве сведущего лица пана Добезкого, занимавшего должность гминного судьи[19] в одном из уездов царства. Наши старики были поражены тем, что такой культурный и богатый человек состоит в должности по волостному управлению, и все перед ним расшаркивались, сокрушаясь о русской отсталости. В заключение были рассмотрены правила, охраняющие свободу выборов. На этом все закончилось.

Поверхностное отношение правящих кругов к условиям создания нового законодательного строя, который, сколь ни прикрывался совещательным характером Думы, был решительным и почти бесповоротным шагом к насаждению конституционализма, проявилось в еще большей степени в отношении их к условиям его введения в действие. Не говоря уже о необходимости приспособления к новому порядку всего административного и полицейского строя – о чем никто и не разговаривал – оставался совершенно открытым, и, как это ни странно, не возбуждал даже сомнений вопрос о возможности сохранения прежних форм центрального управления, в котором, кроме императора, не было ни лица, ни учреждения, способного объединить отдельные министерства в одно правительство страны (Комитет министров был совершенно чужд этого значения, а Совет министров[20] под личным председательствованием государя никогда почти не собирался и

существовал лишь на бумаге). Между тем, при отсутствии объединяющего органа, в Государственную думу переходили бы разногласия министров, так же как они переносились до тех пор в Государственный совет. Такой порядок неизбежно должен был привести к хаосу в делах управления и умалению самого достоинства правительственной власти, не говоря уже о широком поле для ведомственных интриг, которое при этом открывалось. Это было настолько очевидно, что в числе других, связанных с проектом работ, я составил и весьма осторожную записку об образовании Совета министров в новом его значении, объединяющего правительственные ведомства и учреждения, каковую и представил Булыгину, обращая его внимание, что без такой меры невозможно открыть действия Государственной думы. Булыгин прочитал, но дать делу ход не решился. «Оставить это для будущих поколений», – сказал он, возвращая записку. Она передана была впоследствии графу Витте вместе с составленным к ней постатейным проектом, который и положен был в основание нового учреждения Совета министров.

О соответственном переустройстве администрации и полиции не было, разумеется, да и потом не возникало речи.

В результате, подобно тому, как в 60-х годах при переустройстве местного управления земское преобразование, получив внешние формы, осталось, по существу, незаконченным, ибо предлагавшиеся к изданию земские уставы, имевшие определить пределы прав и обязанностей новых учреждений и порядок их деятельности, остались неизданными, точно так же и создание народного представительства осталось делом государственно незавершенным. Перенося центр тяжести во вновь созданные, стоящие вне сферы воздействия верховной власти учреждения, реформа эта не была завершена соответственным переустройством и усилением государственного аппарата, которое позволило бы правительству давать отпор разрушительным силам, получившим в лице кафедры Государственной думы столь сильное орудие воздействия, и воспитать их в рамках дисциплины.

Начались подготовительные действия к выборам. Для сего было образовано в составе Министерства внутренних дел особое делопроизводство из двух лиц: упомянутого выше В. С. Налбандова, который, впрочем, скоро уехал в Крым и там завяз из-за забастовки, и Л. К. Куманина, и двух канцелярских чиновников для письма. В этом ограниченном составе мы принуждены были вести всю огромную работу по распоряжениям о составлении списков избирателей и по даче разъяснений на запросы, сыпавшиеся с мест градом. Булыгин ни во что не входил,

ограничиваясь подписанием приносимых ему бумаг и распоряжением о полном невмешательстве губернских и уездных властей в ход выборов. И действительно, никакого вмешательства ни центральной власти, ни местных властей, никаких попыток использовать влияние правительства для достижения благоприятных для него результатов выборов в Думу за этот период времени ни принимаемо, ни делаемо не было. Все было предоставлено собственному течению, и поле оставалось открытым для деятельности враждебных правительству партий, ибо партии консервативные к тому времени еще не организовались.

Так мы и дожили до второй половины октября.

Все время я был очень занят, целыми днями сидел дома, никого почти не видя. Поэтому я был не в курсе того, что происходило в общественных и правительственных кругах.

17 октября днем жена принесла слухи о каком-то манифесте, но ничего определенного известно не было. Часов в одиннадцать вечера позвонил по телефону А. И. Вуич, помощник управляющего делами Комитета министров, и сообщил, что граф Витте требует меня к себе. Приехав к графу на Каменноостровский проспект, я в дежурной комнате узнал от чиновников об издании высочайшего манифеста и о том, что в связи с ним предстоит срочный пересмотр учреждения Государственной думы, а войдя в кабинет графа, нашел там самого Витте, шагающего из угла в угол с озабоченным видом, и князя А. Д. Оболенского, сидящего на диване. Витте сказал, что ввиду новых событий он должен немедленно приступить к пересмотру правил о выборах в Думу в смысле возможно большего приближения последней к народным массам и что это надо сделать с таким расчетом, чтобы не останавливать хода подготовительных работ к выборам и закончить последние в возможно короткий срок.

И Витте, и особенно князь Оболенский стали тут наперебой предлагать свои планы, как это сделать, причем, по обыкновению, у князя Оболенского одна фантазия немедленно перекрывала другую в самых противоречивых сочетаниях. Ему хотелось в две минуты отыскать способ согласовать самое широкое, почти всеобщее избирательное право с гарантиями разумности выборов. Он перескакивал от всеобщих равных выборов к выборам всеобщим же, но по сословиям, от них к выборам по профессиональным группировкам, потом опять к всеобщим, но ограниченным известным имущественным цензом, и т. д. Это была какая-то яичница предположений, видимо до моего прихода обсуждавшихся, в которой Витте совершенно потонул. Тут

впервые поразила меня черта его характера, которую потом приходилось часто наблюдать, – полная растерянность мысли, как только он переходил в область, ему непривычную, и крайняя нерешительность, почти отсутствие воли, когда приходилось на чем-то остановиться и действовать там, где можно было ожидать сопротивления. В его голове, очень плодовитой, вихрем носились доводы и за, и против, но на что решиться, он не знал и, видимо, ожидал подсказки от собеседников; при этом на всякое свое предположение и сомнение он требовал ответа немедленного.

На все эти сбивчивые предположения можно было ответить лишь просьбой дать хотя бы самый короткий срок, чтобы подумать, и замечанием, что высказанные графом пожелания состоят в противоречии одно с другим. Если не останавливать подготовительных действий к выборам и произвести их в назначенный уже для того срок, то нельзя менять оснований избирательной системы, а можно лишь прилить в нее новые разряды избирателей, расширив избирательные списки и сократив исключения. Если же изменять самые основания избирательной системы, то это потребует много времени, все произведенные уже действия по составлению и опубликованию избирательных списков придется отменить и начинать все сначала, а следовательно, отложить созыв Думы надолго. Это было очевидно и бесспорно.

После долгих разговоров решили, что я на следующий день набросаю проект расширения круга избирателей без нарушения установленной системы, и тогда граф, по ознакомлении, примет окончательное решение.

Вышел я от графа в довольно удрученном настроении. В голове его был хаос, множество порывов, желание всем угодить и никакого определенного плана действий. Вообще, вся его личность производила впечатление, не вязавшееся с его репутацией. Может быть, в финансовой сфере, где он чувствовал почву под ногами, он и был на высоте, но в делах политики и управления производил скорее впечатление авантюриста, чем государственного деятеля, знающего, чего он хочет и что можно сделать. Вдобавок он, по-видимому, имел недостаточно ясное представление и о социальном строе империи, и о лицах, которые присваивали себе наименование «представителей общественности», и даже об административном механизме в провинции.

На обратном пути, проезжая Марсово поле, я встретил первых манифестантов. Толпа каких-то людей несла флаги и что-то кричала о белом царе… И какие-то неясные предчувствия, какая-то тоска захватывали сердце. Что-то словно треснуло в нашей

жизни и поползло лавиной, надвигалась какая-то неясная, чужая сила, и невольно приходило на ум: «Прости, Святая Русь…»

Было три часа ночи. В кабинете Булыгина, в доме министра внутренних дел на Фонтанке, еще виднелся огонь. Я зашел к нему, чтобы доложить о поручении, полученном от Витте. Булыгин, в халате, подписывал бумаги, жена его дремала рядом в кресле. Булыгин показал мне корректурные гранки с текстом манифеста, присланные из типографии «Правительственного вестника»; оказалось, что он от редакции «Вестника» узнал впервые о воспоследовании манифеста.

По обычаю своему, он спокойно негодовал и удивлялся, как могли не предупредить своевременно министра внутренних дел, а следовательно, и губернаторов (большинство губернаторов узнали наутро о манифесте из частных источников и не знали, что делать и что говорить по этому поводу). «Кажется, и мне приходит конец», – сказал Булыгин и рассказал, что днем приходила к ним гувернантка П. Н. Дурново, в то время состоявшего товарищем министра внутренних дел, по прозвищу Кикиша, которая была у них в доме своим человеком (Булыгин был через Акимовых в свойстве с Дурново), осматривала министерскую квартиру и вымеряла простенки, видимо распределяя, где и как разместить мебель. «И подумайте только, какая бесцеремонность у Дурновых. Уже переезжать на мое место собираются, а мне ничего не говорят». Дня через два А. Г. Булыгин, не знаю, по его ли просьбе или без оной, был действительно уволен от должности министра и вскоре заменен П. Н. Дурново.

Утром я набросал проект дополнений к избирательному закону, которыми чисто механически, без нарушения его довольно сложной системы, вводились новые разряды избирателей и создавалась отдельная рабочая курия, параллельная с остальными. В середине дня пришел В. Д. Кузьмин-Караваев[21] с запиской от Витте следующего содержания: «Посылаю к Вам К.-Караваева, он может дать полезный совет».

Познакомившись с составленным наброском, Кузьмин-Караваев сказал (в то время пожелания общественности были довольно скромны), что он должен всех удовлетворить. После Караваева пришел от графа же Д. Н. Шипов[22], которого я тоже ознакомил с предположениями об изменении закона.

Этот высокопочтенный и обычно очень рассудительный человек был, видимо, всем случившимся выбит из колеи. Он долго и туманно доказывал, что, в сущности, является сторонником самодержавия, но понимает его как явление

нравственного, а не формально юридического порядка, противного, по его мнению, русской народной идее царя-самодержца и русскому миропониманию. К назревающим переменам он относился отрицательно, но по некоторым соображениям не высказывал свои взгляды открыто. Он долго и довольно неясно излагал свою, не то не свою, не то славянофильскую (славянофилы, по его мнению, понимают царя-самодержца как носителя и исполнителя воли народной, чутко к ней прислушиваясь и в глубине своей совести ясно ее понимая), не то прусско-юнкерскую (der Köning ist absolute, wenn er unseren Willen tut[23]) точку зрения, видимо не вполне им продуманную. Он оставил какое-то странное впечатление. Одно было очевидно, что он совершенно растерялся.

На следующее утро я отвез графу обработанный проект, который он оставил у себя, чтобы подумать и с кем-то посоветоваться; выходя, спустя несколько времени, из приемной на лестницу, я увидел на площадке графа Витте и В. Д. Кузьмина-Караваева. Витте провожал Кузьмина-Караваева и со свойственной ему в тех случаях, когда он хотел нравиться, сладчайшей улыбкой, так не соответствовавшей всему его облику, тряс руку Караваеву, который со своей стороны в чем-то покровительственно заверял Витте. Мы поехали с Караваевым вместе, и я довез его до Министерства юстиции, где тот слез, сказав: «Надо зайти поторопить в Министерстве с амнистией».

«Общественность», видимо, почуяла уже портфели. Караваев видел себя будущим министром юстиции и был полон важности.

Пошла долгая полоса совещаний Витте с представителями общественности, проводником которых был все тот же князь А. Д. Оболенский, ближайший в то время советчик графа по внутренним делам. Мне пришлось присутствовать при нескольких таких совещаниях в кабинете графа в запасной половине Зимнего дворца, где он стал жить[24]. Были там М. А. Стахович[25] с его длинной бородой, Муромцев[26], князь С. Н. Трубецкой[27], Д. Н. Шипов и еще кто-то. Представители общественности убеждали Витте встать на путь прямой подачи голосов, которая, несмотря на несообразность ее применения в тогдашней России, привлекала симпатии общественных кругов, стремившихся завоевать сочувствие масс. Пришлось мне как-то быть и на совещании по тому же предмету у князя Оболенского, где главным оратором являлся князь Трубецкой, видимо очень искренний и хороший человек, но с какими-то ребяческими представлениями и о России, и о механизме управления, твердо веривший в спасительную силу хороших слов.

Все эти бесконечные разговоры с безответственной

общественностью совершенно сбили с толку Витте, который, как южанин, весь свой век проведший в довольно узком кругу железнодорожных и финансовых дел, имел, как уже упомянуто выше, очень неясное представление о внутренних делах империи и полагал, что эти общественные деятели выражают подлинные желания народа и являются его духовными представителями. Этого убеждения он держался вплоть до Московского восстания, когда общественные деятели от него отпрянули, а сам граф, всеми покинутый, остался, как рыба на мели, расхлебывать порожденную им путаницу.

В конце концов Витте решил рассмотреть вопрос об условиях производства выборов в Думу в Совете министров при участии тех же общественных деятелей, составивших к этому времени (С. А. Муромцев) свой проект избирательного закона по последним рецептам ученых-теоретиков и совершенно не считавшегося с русскими условиями. Витте был в большом колебании. Ему очень хотелось пойти навстречу пожеланиям общественников, но вместе с тем он очень боялся всеобщих выборов, и боялся с полным основанием, так как при отсутствии прочно организованных политических партий, неподготовленности правительства и некультурности населения, прямые и всеобщие выборы неминуемо отдавали Думу в руки тех, кто предложит избирателям наибольшие материальные выгоды и, прежде всего, раздел земель и захват фабрик. А так как все эти и им подобные приманки предлагали и могли предлагать, прежде всего, социалисты, то всеобщие [выборы] должны были привести к их торжеству.

В поисках выхода граф Витте поручил мне на всякий случай «обезвредить» сколько можно выработанный Муромцевым проект[28] и держать эту версию наготове, если он принужден будет обстоятельствами пойти навстречу общественникам.

Несколько заседаний прошли в общих спорах. Муромцев и бывшие с ним, кажется, А. И. Гучков, Д. Н. Шипов и еще кто-то (память изменяет, так как этих лиц приходилось столько раз и до, и после видеть в самых различных сочетаниях, что трудно было запомнить, когда именно и кто именно из них принимал участие в том или ином совещании) отстаивали проект Муромцева, не идя ни на какие уступки. К ним примкнули члены Совета министров, начинавшие искать сближения с общественностью. Сюда относился, прежде всего, министр земледелия Н. Н. Кутлер, недавно послушный чиновник в руках Витте, автор проекта административного земства для западных губерний (проведенного Д. С. Сипягиным) и закона о предельности земского обложения, ставший внезапно ярым радикалом,

противником бюрократии и кадетом («Старый товарищ по борьбе с самодержавием», – писал о нем впоследствии П. Н. Милюков, «Последние новости», 17 мая 1923 года), и, наконец, видным «спецом» на службе советской власти, создателем советского червонца; затем министр путей сообщения К. С. Немешаев и, наконец, в особенности, министр торговли Философов, который старательно подчеркивал свою солидарность в этом вопросе с общественностью, жертвуя для сего даже и здравым смыслом. (Надо сказать, что высшее чиновничество того времени проявило мало верности строю, который их воспитал и возвеличил. Кутлер, Философов и многие другие, перекрасившиеся к созыву Думы из послушных чиновников в либералы и даже радикалы, были ярким примером. И общество смотрело благосклонным оком на это ренегатство. Мой старый гимназический товарищ и приятель молодости, высокопорядочный во всех отношениях человек, очень строгий к себе и к другим, Ф. Ф. Ольденбург укоризненно говорил, что я делаю глупость, оставаясь у знамен правительства, когда все умные люди уже перешли в оппозицию. «Посмотри, – говорил он, – на Кутлера, вот действительно умный и прозорливый человек. Он тотчас перешел на сторону общественности и жалеть не будет, так как обеспечил себе политическую карьеру. А ты со своим упрямством прогадаешь».)

Аргументация Философова была очень забавна. Доказывая, что в русском крестьянстве заложено непреодолимое стремление к равенству и имущественному поравнению, он приводил как довод случай, когда во время погрома помещичьей усадьбы крестьяне похитили фортепьяно и, не допуская мысли, чтобы кто-либо из них мог поживиться от грабежа более других, разрубили инструмент на части и разделили их между собою по жребию, чтобы никому не было обидно. Остальные его доводы были в том же роде и вместе со всей его фигурой (он был очень толст, с толстыми губами и языком, и когда увлекался речью, то слюни у него летели изо рта фонтаном) производили очень комическое впечатление и, вероятно, в немалой степени настраивали против защищаемых им мыслей.

В конце концов большинство Совета склонилось к мысли ограничиться дополнением действующего закона постановлениями, расширяющими участие населения в выборах, без нарушения оснований установленной системы.

Мысль утвердить Думу на всеобщих выборах – по существу своему нелепая – была все же с трудом лишь отвергнута, до такой степени глубоко укоренилась она в умах и своею простотою казалась соблазнительной. Теперь странно и вспоминать, но тогда не было в обществе и печати почти никого, кто не являлся

бы сторонником. К тому же и пропаганда этой идеи велась очень деятельно. Было пущено в ход все вплоть до почтовых карточек, на которых изображены были грустно сидящие воробьи, чирикающие об общественном лозунге. Сам Витте долго и мучительно в этом вопросе колебался.

Принятый Советом министров проект был затем пересмотрен в Особом совещании под личным председательствованием государя. На этот раз и я вошел в состав делопроизводства совещания и был свидетелем происходящих суждений.

Еще до открытия совещания мне пришлось в первый раз быть у государя и говорить с ним. Граф Витте, который не имел, конечно, времени ознакомиться с техническими подробностями этих проектов, однажды, едучи с докладом к государю, взял меня с собой на случай, если потребуются технические пояснения. Это был момент, когда их отношения уже обострились, и поездка оказалась для меня роковой, так как, по-видимому, государь вынес впечатление, что я являюсь доверенным человеком графа, чего в действительности не было, и перенес на меня часть своего нерасположения к последнему. Этим я объясняю себе, быть может и совершенно неправильно, то личное неблаговоление или недоверие, которое потом неизменно проявлял ко мне государь, как в разных мелких случаях, так и всякий раз, когда заходила речь о предоставлении мне более широкого круга деятельности. По внешности это отношение ничем не проявлялось, обращение его величества было всегда неизменно милостивое, и я был даже пожалован в молодом сравнительно возрасте званием статс-секретаря его величества, но, по существу, оно оставалось неизменным до последних дней царствования.

У государя мы провели около двух часов. Сначала вошел Витте, а через несколько минут позвали меня, и, к величайшему моему смущению, Витте, представив меня государю, сказал: «Вот, ваше величество, если позволите, он все вам доложит». Пришлось экспромтом доложить государю о всем ходе дела по пересмотру учреждения Государственной думы и закона о выборах в Думу и ответить на многочисленные вопросы, прямо или косвенно отсюда вытекавшие. Меня поразила та легкость, с которой государь, не имевший специальной подготовки, разбирался в сложных вопросах выборной процедуры, как проектировавшейся у нас, так и принятой в западных странах, и любознательность, которую он при этом проявил. Он отдавал себе ясный отчет, что новый порядок мало принесет ему утешения, и с явным раздражением отмахнулся от сладких слов графа, когда тот стал доказывать, что в лице создаваемого народного представительства государь и правительство найдут опору и

помощь. «Не говорите мне этого, Сергей Юльевич, я отлично понимаю, что создаю не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени». Таков или примерно таков был смысл сказанного государем в ответ на сбивчивые заверения графа; государь упомянул при этом о своей мечте передать сыну Россию умиротворенной. Граф явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он весь как-то ежился и маялся и совсем не похож был на великолепного и развязного Витте, грубо обрывавшего своих противников в разных совещаниях.

После того как я был отпущен, Витте оставался еще несколько минут в кабинете государя и вышел оттуда в угнетенном настроении. На обратном пути из Царского Села он много и слащаво говорил о своей любви к государю и о том, как ему тяжело смотреть на него в эти дни революционного брожения и как он болеет непрестанно душою за государя. Слова Витте не производили, однако, впечатления искренности.

М. Г. Акимов передавал мне впоследствии (в 1911–1912 гг.) со слов государя забавный рассказ его величества о том, как он разочаровался в искренности Витте. Витте, человек угловатый и грубоватый, умел, где было нужно, проявлять любезность и льстивость, которые у него, по противоречию с натурой, выходили как-то особенно неуклюжи и в которых он не знал меры. И вот, чувствуя, что у государя он не имеет под собой той почвы, которую имел при императоре Александре III, Витте был с его величеством преувеличенно искателен и льстив. Как-то раз на всеподданнейшем докладе он с особым старанием держал эту линию. Сладкие речи лились из его уст, он весь светился и таял в чувствах глубокой преданности своему державному повелителю. Он казался так прост, так искренен, так лично предан, что совсем растрогал государя.

Когда он кончил свой доклад и вышел из кабинета, государь вспомнил о каком-то деле, о котором забыл переговорить с Витте, и, желая его вернуть, приотворил дверь в приемную, куда тот вышел. Приотворил и тотчас же захлопнул, так поразила его открывшаяся глазам картина. Он увидел там другого Витте, совершенно не похожего на того, который только что вышел из его кабинета. В приемной стоял важный и надменный сановник, пренебрежительно разговаривавший с другим, ожидавшим своей очереди лицом. Ни простоты, ни ласковости, ни добродушия не было и следа. Весь его надутый вид выражал самомнение и

гордость. «Так вот каков он в действительности», – сказал себе государь и не мог с тех пор отрешиться от этого впечатления.

Чтобы оценить этот рассказ, надо помнить, что император Николай II унаследовал от своего родителя наклонность к простоте, которая в нем сказывалась с особой силой. Он более всего ценил в людях скромность и искренность и имел, как рассказывали лица, близко его знавшие, слабость к проявлениям личной преданности, разделяя этот недостаток характера с императрицей. Этой его слабостью известные лица, по-видимому, и пользовались для укрепления своего влияния.

Состав совещания, происходившего в Царском Селе, и имевшие в нем место суждения изложены с достаточной точностью в составленных делопроизводством записях, которые, как и записи первого совещания, происходившего в Петергофе, были отпечатаны Государственной канцелярией в качестве секретного документа и имелись у очень немногих лиц (они остались неизвестными даже графу Витте), но затем были изданы кем-то за границей, а после революции перепечатаны и пущены в продажу тоже с тенденциозными примечаниями в стиле борьбы классов, но, кажется, без искажений.

В совещание были приглашены представители общественности: Д. Н. Шипов, А. И. Гучков и граф В. А. Бобринский[29] и заслушаны по вопросу об основаниях системы выборов. Первые двое были известны как сторонники всеобщих, тайных и равных выборов. В этом смысле они и высказались, причем Шипов, ссылаясь на свое знание народа, свидетельствовал, что крестьянство, которое в этом случае должно было бы получить подавляющее количество мест в Думе, будет очень радикально в земельном деле и, наоборот, очень консервативно в вопросах политических. Это заявление произвело большое впечатление на собрание, и без того расположенное, начиная с графа Витте, видеть в крестьянстве опору престола и порядка (это порожденное славянофилами убеждение было распространено в правящих кругах как своего рода поветрие; Победоносцеву приписывали фразу: «Мужичок… он чутьем спасет Россию») и не понимавшее, что за десятину земли крестьянин продаст царя и Бога. В захваченном у меня Временным правительством при обыске черновом наброске этих записок, в котором была подобная фраза, не помню в применении ли к этому или к другому случаю сказанная, попавшем потом в Чрезвычайную следственную комиссию, рукой председателя ее Муравьева была сделана на полях против нее заметка: «Какой цинизм».

Что же касается графа Бобринского, который был известен

как решительный противник всеобщих выборов, то он всех удивил внезапным отказом от этого своего взгляда. Со слезами на глазах он свидетельствовал, что раскаивается в своем заблуждении и всецело присоединяется к тем, кто видит во всеобщем голосовании единственную систему выборов, способную дать Государственной думе авторитет и работоспособность.

Заседаний было три или четыре. Второе ознаменовалось выговором в довольно строгом тоне, который государь, открывая заседание, сделал присутствующим за то, что в печати появилось сообщение о ходе работ, – явное следствие болтовни кого-либо из присутствовавших. Выговор этот был вполне заслуженным, так как наши сановники всегда страдали склонностью к болтовне, частью вследствие тщеславного желания проявить осведомленность, частью из желания подслужиться перед печатью.

Прения были довольно оживленные. Оппозиция проекту была представлена главным образом графом А. П. Игнатьевым[30]. Много было и суждений, и постановлений, произнесенных и принятых, по незнакомству с предметом, по явному недоразумению. Примером может служить поправка, предложенная консервативной частью совещания, П. Н. Дурново и А. С. Стишинским, относительно предоставления церковным причтам представительства в предварительных съездах мелких землевладельцев не только «землям отведенным», то есть «ружным»[31] (по 33 десятины на причт), но и по «принадлежащим» церквям (то есть купленным, завещанным и пр.); она стала впоследствии источником больших затруднений и путаницы в выборах; многие церкви и особенно монастыри владели огромными пространствами земли, по много тысяч и даже десятков тысяч десятин, подаренных частными лицами, а потому в этих местностях съезды мелких землевладельцев и духовенства получали по совокупности представленного на них владения несоизмеримо большее количество уполномоченных (количеством уполномоченных определялось разделение на полные цензы общего количества земель, представляемых явившимися на съезд мелкими владельцами), которые, входя засим в состав съезда крупных землевладельцев, совершенно подавляли последних своей численностью; в результате недоразумение это дало возможность прохождения в Думу слишком большого количества духовенства центральных и северных губерний, которое и по нравственному уровню, и по степени преданности государственному строю являлось элементом весьма ненадежным, в противоположность

духовенству губерний западных и малороссийских, где крупных церковных владений почти не было.

Самое удивительное в совещании было поведение графа Витте. Его нерешительный характер, и колебание, и явное нежелание принимать на себя ответственность выявились здесь в полной мере, больше, чем даже можно было ожидать по прежним впечатлениям. Он являлся по своему положению официальным защитником внесенного в совещание проекта, но так как не знал, на что решиться, или умышленно не хотел принимать на себя ответственности за решения, то совершенно измучил и государя, и совещание изложением доводов и за, и против и отсутствием собственного мнения. Свои мысли он словно отрывал одну от другой, и эти глыбы тотчас в его руках рассыпа́лись. Впечатление от его бесконечных речей было таково, что он во всех спорных случаях как бы стремился переложить ответственность на государя, словно желая иметь возможность потом говорить: «Вот я говорил, вот я указывал, а он решил по-своему». Эта неспособность или предвзятость Витте производила на присутствовавших самое тяжелое впечатление и отразилась даже в записях прений, сделанных Государственной канцелярией. Несколько лет спустя А. С. Стишинский напомнил по какому-то случаю графу в Государственном совете о его тогдашних колебаниях. Витте был очень возмущен и объезжал многих лиц, присутствовавших в совещании, стараясь получить от них материал для опровержений. Он обращался к барону Икскулю, осведомляясь, не сохранилось ли у него каких-либо записей, но барон почему-то уверил его, что записей не велось. Тогда он приехал ко мне, прося дать ему мои заметки. У меня таковых не было, и мне, чтобы не подвести барона Икскуля, пришлось сказать, что мне ничего не известно о существовании записей, хотя печатный их экземпляр лежал на столе.

Со времени этих царскосельских совещаний нравственный облик графа Витте, который в хорошо знавших его чиновничьих кругах никогда не оценивался высоко, окончательно потускнел. (Письмо императора Николая Александровича к императрице-матери Марии Федоровне: «Витте после московских событий резко изменился, теперь он хочет вешать и расстреливать. Я никогда не видел такого хамелеона, или человека, меняющего свои убеждения, как он. Благодаря этому свойству почти никто больше ему не верит, он окончательно потопил самого себя в глазах всех…» (Известия. 1927. 12 января. № 71).)

В предпоследнем заседании получена была П. Н. Дурново телеграмма с известием о Московском восстании. Событие это – прямой плод колебаний политики Витте – стало началом крутого

перелома в поведении Дурново, который с этой минуты повел свою собственную энергичную линию и рядом энергичных действий быстро ликвидировал бунты, как московский, так и в других местах вспыхнувшие, и тем спас Россию от участи, которой она подверглась в 1917 году и к которой ее, несомненно, привел бы граф Витте двенадцатью годами раньше, если бы сумел сохранить в своих руках всю полноту власти и не встретил бы отпора в лице Дурново.

После издания нового или, вернее, дополненного избирательного закона начались работы по пересмотру учреждений Государственной думы и Государственного совета, а затем и Основных законов; заседания проходили на дому у графа Сольского, и дело сводилось преимущественно к редакционным изменениям и созданию правил о выборах в Государственный совет, построенных на началах представительства сословных и профессиональных группировок. В первых мне пришлось принять участие, особенно в деле о переустройстве Государственного совета, первоначальный проект учреждения которого был составлен мною по поручению графа Витте. В составлении же Основных законов я участия не принимал, если не считать редактирования замечаний, сделанных П. Н. Дурново на проект этих законов, – замечаний, не имевших, впрочем, последствий за неприятием их.

По поводу составления Основных законов П. Н. Дурново, возмущаясь той легкостью, с которой государь уступал свои права, так характеризовал государя: «Это такой человек, что попроси у него последнюю рубаху, он и ту снимет и отдаст» (слышано от П. Н. Дурново).

2 апреля 1906 года я был назначен товарищем министра внутренних дел и получил в ближайшее заведование, в кругу других обязанностей, также и все, что касалось отношения ведомства к Государственному совету и Государственной думе и производству выборов в оба этих учреждения.

Производство выборов требовало большого труда и по новизне дела вызвало необходимость в обстоятельной технической подготовке. Весь апрель пришлось посвятить этому делу, а потому я мало знал о том, что делалось в это время в правительстве, смена которого состоялась к концу месяца. Здесь кстати напомнить, что техническое учреждение, заведовавшее в составе министерства производством выборов в Думу и Государственный совет – «делопроизводство по выборам», – за время первых трех Дум никогда не имело в своем составе более трех человек. Это были: сначала В. С. Налбандов, а потом почти все время А. К. Черкас, совмещавший обязанности по

заведованию этим делопроизводством с должностью управляющего Страховым отделом, и два канцелярских чиновника, к которым для составления отчетов придавался иногда еще третий. Между тем, когда Временное правительство стало производить выборы в Учредительное собрание, то создало для заведования этим делом комиссию, состав которой превысил сто человек, очевидно или ничего не делавших, или занимавшихся толчением воды в ступе. Такова оказалась на практике разница между управлением «бюрократическим», состоявшим из специалистов, знавших свое дело, и «общественным» – из людей, привыкших к болтовне и распределению синекур.

С назначением министром внутренних дел П. Н. Дурново правительство сделало попытку, правда запоздалую, выйти из пассивного состояния и оказать воздействие на ход выборов. Дурново обратился по этому поводу к графу Витте с письмом. Витте, не отрицая желательности правительственного вмешательства в выборы, справедливо указывал, что время уже упущено и сделать ничего, вероятно, нельзя, а потому не стоит компрометировать правительство бесцельными мерами давления. Таков приблизительно был смысл ответа. Тем не мене Дурново решил на свой страх сделать попытку. Около этого времени к нему обратился член Думы полковник Ерогин с предложением организовать избираемых в Думу крестьян и взять под свое наблюдение, чтобы предохранить от захвата левыми партиями. Ерогин был человек полный лучших намерений, но неумный и нераспорядительный. Дурново пошел, однако, ему навстречу, сообразив со свойственной ему быстротой понимания всю выгоду удержать крестьян на стороне правительства, хотя бы первые дни по открытии Думы. Он решил устроить под руководством Ерогина особые общежития и направлять в них крестьян-членов Думы по прибытии их в Петербург, чтобы там Ерогин и другие члены Думы консервативного лагеря могли на них воздействовать. План был несколько наивный, ибо неизбежная огласка его должна была немедленно же парализовать действия Ерогина. Наем и устройство общежитий было поручено некоему В. И. Кореневу, человеку хорошо известному и Дурново, и Витте. Это был тип очень любопытный. Фотограф из крестьян Смоленской губернии, Коренев был проникнут страстной любовью к политической интриге и был неугомонный путешественник по России, которую изъездил вдоль и поперек, толкаясь преимущественно среди черного люда. Он был, кажется, главным осведомителем графа Витте о настроении народных масс и писал ему бесконечные письма с пути. Он пользовался большим доверием графа, который

в свою очередь постоянно писал Кореневу, сообщая, какие сведения ему нужны и преподавая разные наставления о том, где и как их собирать. Я видел у Коренева много таких собственноручных записок графа.

Одновременно с тем Дурново послал в Поволжье экспедицию для преподания губернаторам указаний, чтобы они постарались направить к Ерогину членов Думы из крестьян. Поволжье было избрано, потому что оттуда можно было ожидать наиболее податливых революционной пропаганде крестьян, перехватить которых Дурново и хотел в первую голову, а может быть, и потому, что край этот был более знаком Петру Николаевичу. Экспедиция состояла из А. А. Лопухина, в то время отставленного от должности эстляндского губернатора за слабость, проявленную при подавлении мятежных вспышек в Ревеле, князя Шаховского, начальника Главного управления по делам печати, и чиновника особых поручений И. Я. Гурлянда, как хорошо знакомого с Верхним Поволжьем по прежней своей службе в Ярославле при губернаторе Б. В. Штюрмере. Лицам этим Дурново дал письма на имя губернаторов с приказанием исполнить в точности все те распоряжения, которые от его имени будут переданы. Поездка ожидавшихся от нее результатов не принесла и ознаменовалась лишь малопонятным случаем, а именно: в Саратовской губернии, где губернатором был П. А. Столыпин, в то время приятель А. А. Лопухина, который поэтому в Саратовскую губернию и был направлен, распоряжение Дурново получило огласку, и члены Думы из крестьян были приглашены к губернатору для собеседования повестками через полицию. Возможно, что это вышло случайно или было результатом неосмотрительности канцелярии губернатора, Дурново понял эпизод как демонстрацию против него.

Ерогинские квартиры, собравшие все же некоторое количество членов Думы из крестьян, скоро получили известность, посыпались насмешки в печати, стишки, сам Ерогин оказался мало пригодным для политического руководства, и они скоро заглохли. Квартиры дали, впрочем, кое-какой забавный материал для характеристики настроений и отношения к делу новых законодателей, в них поселившихся. Крестьяне-члены Думы, не довольствуясь суточными деньгами, которые в то время были определены в размере 10 рублей[32], прилагали все усилия, чтобы использовать свое пребывание в Петербурге возможно выгоднее для увеличения своего благосостояния. Некоторые открыли мелкую торговлю, один – курятную[33], поступили в швейцары, дворники и на другие подобные должности; по свидетельству Коренева, крестьяне – члены Думы объяснили свои

действия невозможностью прожить иначе, так как значительную часть получаемых от казны суточных денег они обязаны были уплачивать обществам, от коих были избраны, желавшим иметь долю в барышах, выпадающих избранному в члены Думы.

По мере съезда членов Думы становилось ясно, что план П. Н. Дурново (к тому времени замененного уже П. А. Столыпиным) захватить в руки крестьян осужден на неудачу и что в их среде быстро возьмут верх течения революционные и даже анархические. Это настроение выявилось уже в самый день торжественного открытия Думы. Открытие обставлено было с большой торжественностью. На площади у Зимнего дворца, в котором государь принимал членов Думы и должен был сказать им речь, расположены были войска в полном параде, выход был обставлен со всей пышностью придворного этикета, правду сказать, сильно резавшего своим архаическим символизмом не привыкший к этому русский глаз. На фоне блеска и торжественности толпа «депутатов», кто в пиджаках и косоворотках, кто в поддевках, нестриженые и даже немытые, немногие в сюртуках, один-два во фраках, являлась резким и вызывающим контрастом. В первом ряду выделялся В. Д. Набоков, стоявший с надутым видом, засунув руки в карманы, рядом с ним отталкивающий Петрункевич, кривая рожа Родичева[34]. Косые, хмурые взгляды ответили на речь государя, полную доверия к призванным от России людям. Невольно припомнились мне слова государя, сказанные Витте в разговоре, при котором мне пришлось присутствовать. Государь не ошибся в своих предчувствиях.

Разошлись в тягостном молчании. Сразу стало видно, что между старой и новой Россией перебросить мост едва ли удастся.

Деятельность Первой Думы у всех на памяти, а потому не буду на ней останавливаться. Обе стороны, и правительство, и Дума, оказались к своей роли одинаково не подготовленными.

Достаточно было пооглядеться среди пестрой толпы «депутатов», а мне приходилось проводить среди них в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло собой первое русское представительное собрание. Это было собрание дикарей. Казалось, что Русская земля послала в Петербург все, что в ней было дикого, полного зависти и злобы. Если исходить из мысли, что эти люди действительно представляли собой народ и его «сокровенные чаяния», то надо было признать, что Россия еще по крайней мере сто лет могла держаться только силою внешнего принуждения, а не внутреннего сцепления, и единственный

спасительный для нее режим был бы просвещенный абсолютизм. Попытка опереть государственный порядок на «волю народа» была явно обречена на провал, ибо сознание государственности, а тем более единой государственности, совершенно стушевывалось в этой массе под социальной враждой и классовыми вожделениями, а вернее, и совершенно отсутствовало. Надежда на интеллигенцию и ее культурное влияние тоже теряла почву. Интеллигенция в Думе была сравнительно малочисленна и явно пасовала перед кипучей энергией черной массы. Она верила в силу хороших слов, отстаивала идеалы, массам совершенно чуждые и ненужные, и была способна служить лишь трамплином для революции, но не созидающей силой.

Если первые дни кадеты, имевшие в Думе значительное число голосов, сильные своей дисциплиной и опытом общественной деятельности в местных учреждениях, и сумели придать собраниям некоторое благообразие, а торжественный Муромцев даже и напыщенность, то этот тон быстро поблек после первых же успехов Аладьина[35], Онипко[36] и их товарищей, явно показавших, что элементы правого строя тонут в Думе в революционных и анархических. О какой-либо законодательной деятельности в палате, большинство членов которой лишено было самого элементарного образования и воспитания, а многие не умели ни читать, ни писать и способны были действовать лишь в путях инстинкта, не могло быть, разумеется, и речи; к тому же правительство, созвав Думу, не приготовило для нее никаких законодательных предположений, способных занять ее внимание, и явно недоумевало, что с нею делать.

В числе членов Думы, избранных от Симбирской губернии, оказался и мой приятель молодости В. Н. Микешин. Он был совершенно подавлен и перепуган картиной выборов, которую пришлось видеть, и теми проявлениями социальной злобы, которых он был при этом свидетель; он пророчил и, увы, оказался прав, что общественный порядок продержится в России недолго. С ним была и дочь, барышня лет девятнадцати, видимо радикального образа мыслей, с которой он познакомил меня в кулуарах. На вопрос мой, как ей нравится Дума, девица недовольно повела носом: «Что такое Дума и кому она может нравиться. Вот если бы это было Учредительное собрание…»; впоследствии девица эта вступила в сожительство с А. Ф. Керенским[37], которое приняло в конце концов характер гражданского брака.

В Думе же оказался и другой мой приятель молодости – князь Д. И. Шаховской, избранный в секретари, впоследствии неудачный министр призрения во Временном правительстве.

Отношение членов Думы из крестьян к своим обязанностям было весьма своеобразно. В Думу они приводили нахлынувших вслед за ними ходоков по разным делам, которых сажали в кресла, откуда приставам Думы было немало труда их выдворять. Полиция задержала как-то на улице у Таврического дворца двух крестьян, продававших входные во дворец билеты. Оба оказались членами Думы, о чем и было доведено до сведения ее председателя.

Население вообще приняло открытие Думы как нарождение высшего присутственного места, в которое можно было обращаться по всем делам, проигранным в других инстанциях. Со всех концов России посылались прошения: кто жаловался на решение суда, кто просил о разводе, о помиловании и прочем. По роспуске Думы эти прошения, числом до пятнадцати тысяч, были переданы в надлежащие министерства.

Некоторые из членов Думы с места же занялись революционной пропагандой на заводах, стали устраивать уличные демонстрации, науськивать толпу на полицию и т. п. Во время одной из таких демонстраций на Лиговке был избит предводительствовавший толпой буянов Михайличенко, член Думы из горнорабочих Юга. На следующий день он явился в заседание и принял участие в обсуждении предъявленного по этому поводу запроса с лицом, повязанным тряпками, так что видны были только нос и глаза.

Члены Думы – крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: «Для меня ты, с…, вполне прикосновенен», и выкинула за дверь. Привлеченный шумом околоточный надзиратель, видевший эту сцену, составил все же протокол об оскорблении бабой должностного лица, каковым он признал члена Думы.

Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы (фамилию забыл), скончавшегося в белой горячке от пьянства; в надгробных речах он именовался «борцом, павшим на славном посту».

О некоторых членах Думы стали вдогонку поступать приговоры волостных и иных судов, коими они были осуждены за мелкие кражи и мошенничества: один за кражу свиньи, другой – кошелька и т. п. Вообще, количество членов Первой Думы, главным образом крестьян, которые благодаря небрежному

составлению списков избирателей и выборщиков оказались осужденными ранее за корыстные преступления, лишавшие участия в выборах, или впоследствии в течение первого года после роспуска Думы, превысило, по собранным Министерством внутренних дел сведениям, сорок человек, то есть около 8 процентов всего состава Думы.

В соответствии с Думой были и порядки ее президиума. В коридоры Таврического дворца, сообщавшиеся с залом заседания, допускали всех, кто только желал туда проникнуть, так что в перерывах заседаний тут же происходили шумные сборища, создавались митинги, появлялись ораторы, набивалось множество каких-то дам, стояли шум, галдеж, страсти разгорались. П. Н. Милюков, не попавший в члены Думы, заседал в буфете и оттуда дирижировал кадетскими силами. А в помещении Думы устроена была продажа запрещенных цензурой книг и революционных изданий, и только по созыве Второй Думы безобразие это было прекращено М. В. Челноковым, избранным в секретари Думы.

Порядок в заседаниях, если не считать враждебных криков по адресу правительства (выступления которого, за исключением П. А. Столыпина и В. И. Гурко, были, по правде сказать, очень неудачны и даже жалки), все же поддерживался, особенно первое время, благодаря Муромцеву, который, в своем фраке, с торжественным видом римского сенатора, успокоительно действовал на собрание. Но ни он, ни правительство не сумели использовать этого обстоятельства и установить между собой отношения, допускающие возможность личных переговоров и согласования действий. Муромцев по избрании не сделал обычных визитов представителям власти, чем затруднил возможность личных встреч вне официальной обстановки думских заседаний.

Уже под конец существования [Первой] Думы П. А. Столыпин просил меня постараться установить с Муромцевым отношения и устроить возможность свидания и разговоров с ним. С этой целью я несколько раз посетил Муромцева в его кабинете в Таврическом дворце и довольно быстро установил с ним добрые отношения. Поводом послужили поступившие в Департамент полиции сведения о возможности покушения на его жизнь, разговоры о чем велись в одном из революционных кружков. Муромцев, хотя и большой доктринер, но человек спокойный и здравомыслящий, вполне понимавший нелепость создавшегося положения, был головою выше остальной кадетской братии. Он охотно шел навстречу, но с первых же минут обнаружилась и его несамостоятельность, и малый вес в руководящих кругах партии.

Он находился, видимо, под усиленным надзором, а может

быть, и почитался неблагонадежным. Мои посещения немедленно привлекли внимание, и мой старый товарищ, друг молодости князь Д. И. Шаховской, секретарь Государственной думы, пользовавшийся кредитом в партии, стал как-то слишком часто и без видимой надобности наведываться к председателю, лишь только я к нему заходил, и Муромцеву при его появлении приходилось наспех менять предмет разговора, каковым нам служил обычно проект составленной Муромцевым конституции.

Муромцева особенно смущали вопросы «протокола»: как и где встретиться с правительством, кто должен сделать первый шаг, какой избрать предлог и тому подобные, столь близкие его формальной душе профессора римского права. Намечалась встреча у М. А. Стаховича, что улыбалось Муромцеву, или у князя А. Д. Оболенского, что нравилось ему менее, но так ни до чего договориться и не успели.

В разговорах Муромцев был очень осторожен, но не скрывал отрицательного отношения к некоторым пунктам кадетской программы, в частности, к предположениям об отчуждении земель. Он старался, однако, доказывать, что и правительство не право, заняв в этом вопросе непримиримое положение, вместо того чтобы смягчить остроту наружным принятием проекта при условии компромисса в путях практического осуществления. На возражения, что правительство не может принести в жертву экономические интересы государства, связанные с производством хлеба для городского населения и для вывоза, поставщиком которого и были частные имения с их сравнительно высокой и недоступной крестьянину хозяйственной культурой, и что без существования крупных частных имений невозможен и прогресс сельского хозяйства, ибо оно из этих только имений и может черпать улучшенные семена и породистый скот, Муромцев утверждал, что в среде самой кадетской партии никто, кроме крайних теоретиков и не смотрит на проект как на меру, подлежащую немедленному осуществлению, что при некотором искусстве можно было бы растянуть осуществление его лет на тридцать, а то и более, и что важно сохранить лишь принцип, как способ успокоения масс, воображающих, что этим способом можно обеспечить землю каждому крестьянину.

Точки соприкосновения с руководящими кругами Думы так и не было найдено, и политика агитационных выступлений с думской кафедры, начинавших волновать страну, не прекращалась. Становилось очевидным, что другого выхода, кроме роспуска Думы, нет и что необходимо подготавливать почву для нового ее созыва в более подходящих условиях. Еще в начале мая И. Л. Горемыкин, в то время председатель Совета

[министров], поручил мне набросать проект изменений избирательного закона, который способен был бы дать более удовлетворительные результаты. Составленный проект, в котором я старался провести отвергнутую первый раз мысль об утверждении выборов на органических, корпоративных основаниях (представительство волостей и городов, сливающееся в уездном собрании) и доказывал необходимость немедленного объединения власти внизу, в уездах и губерниях, и выработки правительственной определенной программы деятельности, могущей служить избирательной платформой, я представил в конце мая Горемыкину, а последний государю; государь передал записку П. А. Столыпину по назначении его председателем Совета [министров]. Практических последствий это начинание не имело.

Приближался день роспуска, неизбежность которого висела в воздухе и сознавалась обеими сторонами, и правительством, и Думой. Новизна акта, который оппозиционными кругами растолковывался населению как якобы незаконное насилие, как «разгон» Думы, внушала многим опасения за сохранение порядка и спокойствия в стране, особенно волновался министр иностранных дел А. П. Извольский. Он поскакал в иностранные посольства разъяснять и успокаивать и сеял там панику. Напыщенный сноб, вечно в монокле, и никогда не знающий, куда поставить свой цилиндр, с которым он, храня обычаи Европы, неизменно входил в зал Совета [министров], А. П. Извольский корчил из себя просвещенного европейца, глубоко усвоившего западную культуру, и стремился быть посредником между Столыпиным и кадетами. В действительности это был трафаретный дипломат, человек легковесный и неумный, далекий от преданности своему государю, что и доказал после революции.

Министерством внутренних дел были приняты обширные меры предосторожности как в Петербурге, так и вообще по России, и вечером накануне намеченного для роспуска дня состоялось по этому поводу особое заседание Совета министров с участием старших чинов Министерства внутренних дел. Докладчиком о принятых к обеспечению порядка мерах был директор Департамента полиции М. И. Трусевич. П. А. Столыпин, в то время не совсем еще оперившийся, скромно сидел и помалкивал. Когда Совет кончился, приняв по настоянию Горемыкина окончательное решение распустить Думу, и проект соответствующего указа послан был к подписанию его величества, и участвующие выходили на набережную Фонтанки, В. Н. Коковцов[38] горячо доказывал рискованность предпринимаемой меры. «Что будет в стране, точно не знаю, – говорил он, – но на

бирже будет полный крах – это несомненно». Не произошло, однако, ни волнений в стране, ни краха на бирже. Все отнеслись к роспуску спокойно, и только глупый фарс кадетов, поехавших в Выборг продолжать заседания Думы, внес на минуту какое-то подобие протеста[39].

Ночь перед роспуском Думы пришлось провести без сна, так как шли хлопоты с составлением манифеста. Были приглашены к содействию И. Г. Щегловитов[40], а затем и Ф. Д. Самарин, приехавший на Аптекарский остров, где была дача министра внутренних дел, в пять часов утра; все предложили свои проекты. В конце концов после долгих колебаний Столыпин остановился на редакции, составленной им самим в приподнятом несколько тоне, говорившей о «богатырях», имевших поднять на плечи дело государственного строительства. Под утро караулы у дачи были усилены, но все обошлось благополучно, без малейших происшествий.

Закон 3 июня 1907 года

Осенью 1906 года началась лихорадочная работа по укреплению порядка. Путь и программа, которые избрал для этого Столыпин, были те самые, которые проектировал два года назад князь [Святополк-] Мирский – устранить в чем возможно причины накопившегося в обществе неудовольствия, равно как и стеснительные порядки, отжившие свое время, и укрепить низы государства, дав общественному строю опору в мелком собственнике и привив населению убеждение, что только путем труда можно достигнуть благосостояния.

Основанием служило положение о землеустройстве, которое осталось самым значительным делом Столыпина, хотя и не ему одному принадлежало в идее; мысль созрела уже ранее, и выработка проекта была делом В. И. Гурко; особая же заслуга Столыпина была в том, что он талантливо защищал эту идею и энергически проводил в жизнь. Далее следовали положения о старообрядческих и сектантских общинах, открывшие им свободу жизни и развития, правила об обществах и союзах, о печати и т. п. – все меры достаточно известные, чтобы перечислять их подробно, в большинстве равным образом разработанные в Министерстве внутренних дел еще до появления Столыпина у власти.

Меры эти проводились в порядке статьи 87 Основных законов, то есть помимо Думы, как потому, что приходилось спешить, так и потому, что нужно было дать им первоначальное осуществление в пределах благоразумной осторожности, которой нельзя было ждать от Государственной думы. Нельзя, конечно, отрицать, что одним из мотивов, побуждавшим спешить, было и естественное желание Столыпина вырвать у противников козыри и ослабить противоправительственную агитацию на предстоящих выборах.

В том же чрезвычайном порядке Столыпин предполагал обезвредить и еврейский вопрос, смягчить ограничения, на евреях лежавшие, но мысль эта не могла получить осуществления, потому что государь затруднился взять почин на себя. На всеподданнейшем докладе Столыпина его величество положил резолюцию в том смысле, что отношение к евреям есть дело совести народной, а потому пусть представители народа и берут на себя ответственность за возбуждение и решение вопроса. Высочайшая резолюция осталась почему-то мало известной, и почина со стороны Государственной думы не последовало.

В работах этих мне лично не пришлось участвовать, за

исключением выработки положения о старообрядческих общинах, которое подвергнуто было обсуждению в созванном при Министерстве внутренних дел старообрядческом съезде, состоявшем из архиепископа Иоанна, всех епископов и некоторых видных старообрядцев-мирян: Бугрова, Блинова и др. Мне пришлось и председательствовать в этом единственном в своем роде собрании, и я вынес из него глубокое уважение к старообрядческому высшему духовенству того времени. В нанковых рясах, с худыми строгими лицами, они резко отличались от упитанного духовенства господствующей церкви с его шелковыми одеяниями, орденами и явным нередко равнодушием к делам духовного мира; различие духовенства гонимого и торжествующего сказывалось с полной яркостью и невольно наводило на мысль, что возрождение церкви, о котором так охотно у нас говорили, могло бы пойти только от гонимого. Особенно выделялся среди духовенства своим нравственным обликом и спокойным достоинством архиепископ Иоанн (Картушев).

Всю осень я занят был, главным образом, подготовкой выборов в Государственную думу. Закон о выборах, сильно испорченный в первоначальном его тексте и приведенный в хаотическое состояние поправками, внесенными во время совещаний в Царском Селе, вызвал много затруднений в порядке применения. Чтобы очистить закон от противоречий и выявить действительный смысл некоторых правил, пришлось подвергнуть многие его части истолкованию через Правительствующий сенат. Главной целью было устранить двойное представительство крестьян, которые, при буквальном понимании некоторых статей, проходили бы в выборщики и по сельским избирательным съездам и одновременно и по съездам мелких землевладельцев; засим ввести в законные рамки представительство церковной земли, определить понятие «квартиры», дававшей право участия в выборах по жилищному цензу, и, наконец, устранить возможность создания фиктивных цензов, к чему открывалось как Основным законом, так и царскосельскими поправками много способов и лазеек.

Оппозиционная печать подняла, разумеется, крик, утверждая, что правительство с помощью разъяснений фальсифицирует закон, сокращая число участников выборов. В действительности подобных намерений не было, и правительство стремилось единственно к тому, чтобы применение закона соответствовало действительным намерениям законодателя, его создавшего. Если же некоторые толкования Сената и давали повод говорить о «нажиме» на закон, то инициатива их исходила чаще от Сената,

чем от Министерства [внутренних дел]. Испуганный зрелищем Первой Государственной думы, Сенат действительно склонен был подчас смотреть на некоторые вопросы с «охранительной» точки зрения. Примером могло служить дело о выборе П. Н. Милюкова. В Первую Думу он не попал, во Вторую же был избран по явно подложному цензу как приказчик книжного склада «Общественная польза». Фиктивность ценза не могла возбуждать сомнений, ибо Милюков приказчиком склада быть не мог, но документальные доказательства были налицо. Сенаторы собирались выборы отменить, и пришлось в перерыве заседания убеждать кое-кого из них не делать этого, чтобы не давать повода к обвинению правительства в том, что оно «разъяснило», как тогда говорили, вождя кадетов; к тому же, по правде сказать, Милюков был гораздо вреднее вне Думы, чем в ее составе. Его основной недостаток – бестактность – нередко ставил партию в Думе в неловкое положение.

Наряду с подготовкой выборов правительству приходилось заниматься и устроительной работой по укреплению своего положения в стране, между прочим, и путем поддержания партий и организаций, на которые можно было бы опереться. Положение правительства было очень слабое за отсутствием точек опоры на местах. Местное управление покоилось на патриархальных основаниях, совершенно не соответствовавших изменившимся условиям государства. В уездах первенствующей по закону властью были предводители дворянства как председатели всех уездных присутствий. На деле, однако, они давно уже утратили свое значение. Большинство несло обязанности свои фиктивно, перелагая на заместителей; многие проживали постоянно вне своих уездов и бывали в них лишь время от времени; наконец, и самый состав предводителей далеко не везде соответствовал видам правительства, и вообще учреждение это совершенно обветшало и выветривалось. Оставались исправники – власть чисто полицейская; они не пользовались влиянием ни в общественных кругах, ни даже среди чинов казенных ведомств и не располагали никакими способами воздействия. Ничего подобного европейским ландратам или супрефектам у нас не было. Аппарата управления на местах не существовало, а были только чиновники разных ведомств: финансового, судебного, лесного и пр., ничем между собой не спаянные, или исполнительные органы разного рода самоуправлений, зависимые более от избирателей, чем от правительства, общей объединяющей власти не было.

Само собой разумеется, что при таких условиях и правительственное воздействие на выборы было крайне

затруднено, чтобы не сказать невозможно; правительство не могло быть даже уверено в том, что стоящие у избирательных ящиков должностные лица не будут действовать ему во вред. Припоминаю по этому поводу забавный рассказ, слышанный от Столыпина. Он жаловался на выборные затруднения в присутствии испанского посла. Испанец слушал, слушал и говорит: «Не понимаю, о чем вы беспокоитесь? У нас делается это очень просто. Мэры в руках правительства, а потому как председатели избирательных бюро они своевременно засыпают в урны столько бюллетеней угодной правительству партии, сколько требуется для успеха, а затем допускают избирателей. Получается большинство, нужное правительству, и все довольны».

Посол, может быть, и шутил, но в существе до известной степени отражал некоторое значение местной дисциплины на выборах.

У нас, во всяком случае, таких «мэров» не было, и вообще, невзирая на существование объединенного правительства, спайка органов управления даже наверху была еще слаба. Доходило до курьезов. Так, например, один из податных инспекторов Ярославской губернии был изобличен в том, что, разъезжая по делам службы по уезду, раздавал в волостных правлениях избирательные воззвания кадетской партии, коей состоял членом. В этом еще не было бы удивительного, но удивительно то, что стоило большого труда добиться от министра финансов не увольнения даже, как бы следовало, а хотя бы перевода этого чиновника в другую губернию. Подобный же случай был и в Саратовской губернии, где равным образом податной инспектор был изобличен в раздаче прокламаций противной правительству партии при отправлении обязанностей службы.

При таком положении правительству приходилось искать опоры в зарождавшихся партийных организациях правых и, до известной степени, октябристских, отпуская в их распоряжение средства, поддерживая их газеты и даже основывая свои, как бы негласные официозы, работавшие в том же направлении. Деньги выдавались правым организациям преимущественно через представителей «Союза русского народа», сначала А. И. Дубровина, а потом В. М. Пуришкевича (о них и о «Союзе» говорю ниже) и через протоиерея отца И. Восторгова. Последний был человек выдающийся и по уму, энергии, организаторским талантам; он умел находить средства и вне правительственной поддержки. К сожалению, властолюбивый характер и стремление командовать создали ему много врагов в собственных даже кругах. Обстоятельство это и помешало ему впоследствии пройти в протопресвитеры военного ведомства, куда он очень стремился

и где был бы чрезвычайно полезен (отчасти помешал назначению и Столыпин, опасавшийся, что при безмерном своем властолюбии Восторгов станет интриговать и против него).

Наиболее трудным и практически бесплодным делом была организация правой части печати. Правительство содержало более тридцати газет в разных местностях России, расходуя на это дело довольно крупные суммы, но, должен признаться, без успеха. Ни одна из них не могла занять влиятельного положения и служить поддержкой. Одной из причин была, вероятно, моя неопытность и невозможность отдать делу достаточно времени (предмет, по существу своему, относился к ведению Главного управления по делам печати, но Петр Аркадьевич, избегая лишней огласки, не хотел его там сосредоточивать). Но главным образом неуспех обусловливался полным почти отсутствием людей, подготовленных к публицистической деятельности. Оно и неудивительно, так как газетная работа была достоянием кругов оппозиционных, и в распоряжении их сложился соответствующий личный состав, преимущественно еврейского происхождения. В рядах же правых партий, вообще менее образованных, если не считать немногочисленных талантливых лиц, вообще не было людей, умевших держать перо в руках. Приходилось поэтому, особенно в провинциальных центрах, довольствоваться газетным кустарями, не имевшими ни навыков, ни такта. Немало значения имел недостаток финансового размаха во всем том, что было связано с внутренней обороной государственного строя, которым так страдало старое правительство; сколь бы ни были значительны отпускавшиеся средства, но при громадности наших протяжений и при новизне дела они являлись каплей в море потребностей.

Кроме газет, правительственная агитация велась и с помощью брошюрной литературы на злободневные темы. Это дело шло лучше; некоторые издания были талантливы и имели успех. Сюда относились, прежде всего, бойкие политические памфлеты И. Я. Гурлянда, писавшего под псевдонимом Васильев: «Правда о кадетах», «Наши социалисты» и пр. Они печатались в ста тысячах экземпляров каждый и были рассылаемы всем лицам, имевшим какое-либо, хотя бы и самое малое, общественное положение, начиная от сельских учителей, священников и т. д., восходя по ступеням иерархии. Для рассылки была устроена секретная экспедиция, которая посылала книгу непосредственно по прямому адресу; эта была целая фабрика. Памфлеты Гурлянда были переведены на все иностранные языки. Кроме того, было еще отдельное издательство в ведении С. С. Подолинского, родственника П. А. Столыпина, который издавал брошюры разных

авторов по социальным вопросам. Велась еще и особая аграрная пропаганда в форме проповеди идеи интенсификации обработки земли как способа выйти из земельных затруднений. Ею ведал Н. А. Демчинский, разъезжавший по России и устраивавший лекции и опытные поля «грядковой культуры хлебов». Она имела мало смысла, так как подобная форма культуры, требуя огромной затраты сил, возможна лишь в условиях крайней густоты населения и дешевизны рабочих рук (Китай); на наших же пространствах и при лености нашего населения была менее пригодна, чем любой вид первобытного земледелия.

Таким образом, вокруг выборов создавалась постепенно довольно обширная по объему, хотя и зачаточная по формам организация, стоявшая вне ведомства и о существовании которой не подозревало даже и большинство министров. Этот зачаток Министерства пропаганды был, конечно, как и всякое новое и притом секретное начинание, очень несовершенен, но он нащупывал пути и по мере накопления опыта мог превратиться в полезное для правительства орудие; доказательством может служить повсеместное внимание, которым пользуются в Европе способы правительственной пропаганды, равно как успехи, достигнутые благодаря умелой ее постановке советской властью. Со смертью Столыпина и это начинание немедленно же сошло на нет.

Общий расход на предметы пропаганды за время премьерства Столыпина не превышал 3 миллиона рублей в год, считая в том числе и все секретные расходы по выборам, выражавшиеся в поддержке партий и отдельных лиц, равно как и расход на националистическую пропаганду в Галиции. Относившиеся к этим операциям денежные книги я сохранил у себя по уходе из Министерства внутренних дел и уничтожил в первые дни революции, чтобы они не попали в руки Временного правительства. Книги за последующее время не были министерством уничтожены и оказались в распоряжении революционных властей, чем было скомпрометировано много лиц, доверившихся в свое время старому правительству. Расходование секретного фонда после смерти Столыпина перешло в ведение Департамента полиции, откуда и сложилось впечатление, что правые партии, в частности «Союз русского народа», были чисто полицейским детищем, что совершенно неверно.

Наряду с правительственной пропагандой приняты были и меры к тому, чтобы сблизить правительство с личным составом земских и городских деятелей и установить с ними постоянные и повседневные отношения.

До тех пор отношения председателей и членов земских управ, городских голов и др. к министерству были чисто формальные. Приезжая в Петербург по делам или в качестве вызываемых сведущих лиц, местные люди осуждены были слоняться по канцеляриям различных ведомств, не имея ни угла, ни пристанища и везде чувствуя себя чужими. Отсюда в значительной мере создавалось чувство отчуждения, невольно передававшееся на места, и склонность приезжих к хождению по оппозиционным гостиным, где им широко раскрывали объятия.

Чтобы изменить эти отношения, приведен был в действие закон о Совете по делам местного хозяйства, созданный при Плеве, но остававшийся до тех пор мертвой буквой. Через Совет стали проводиться законопроекты о преобразовании местного управления, предполагавшиеся к внесению в Государственную думу, но затем не внесенные по разным политическим соображениям, главным образом по противодействию дворянства. Для заседаний Совета было отведено обширное помещение в доме Министерства по Морской улице, где собрания и происходили в обстановке, приспособленной к привычкам местных деятелей, в атмосфере товарищеского общения, созданию которой много способствовал непременный член Совета М. В. Ислявин, состоявший некогда членом Тверской губернской земской управы, впоследствии новгородский губернатор, имевший обширные знакомства по всей России и отличавшийся исключительным тактом в обращении с приезжими. Тут же было основано справочное бюро, облегчавшее местным деятелям, как приезжавшим в здание Совета, так и вообще приезжавшим в Петербург, получение всех необходимых им сведений из всех министерств и улаживание всякого рода недоразумений с властями, и редакция «Вестника земского и городского хозяйства» – официозного органа министерства, в котором помещались официальные сведения, полезные для земских и городских управлений, равно как разрабатывались вопросы местного хозяйства.

Эти начинания оказались очень удачны и встретили живейшее сочувствие со стороны местных деятелей, но смерть Столыпина свела на нет и эту сторону деятельности министерства, и все заглохло немного времени спустя после его исчезновения. Преемники вернулись к прежней формальной практике. Результаты близорукости правительство пожало впоследствии, на выборах в Четвертую Думу, которые при умелом руководстве могли бы дать гораздо более благоприятные результаты, чем выборы в Третью, ибо и в центре, и на местах отношения, решавшие исход выборов, складывались уже в пользу

правительства.

Несколько недель совместной работы со Второй Думой убедили правительство, что жить с нею нельзя, так как задачей господствовавшего большинства была не законодательная работа, а борьба с правительством и даже государственным строем вообще, и думская деятельность рассматривалась им лишь как удобный способ пропаганды в условиях, не стесненных цензурой и полицией (говорить со страной через головы собрания). Уже к апрелю выяснилось, что Думу придется распустить, и П. А. Столыпин по примеру И. Л. Горемыкина решил изменить самый закон, чтобы обеспечить преимущество на следующих выборах более культурным слоям населения.

Самое правильное было вернуться к мысли о выборе членов Думы через посредство уездных земских собраний как органических единений, представляющих собой уезды и состоящих из людей, имеющих элементарный опыт участия в самоуправлении, знакомство с практическими задачами управления и некоторое понятие о границах возможного и невозможного. Но Столыпин не решался на такой шаг, как далеко отступавший от действовавших правил и сокращавший круг интересов, представленных в Думе. Он поручил мне составить набросок такого изменения закона, которое, не нарушая общей схемы выборов, обеспечивало бы прохождение в Думу более состоятельных, а следовательно, и более культурных слоев. При этом он сказал, что государь неоднократно выражал ему желание, которое он высказывал раньше и И. Л. Горемыкину, чтобы при изменении закона ни один из разрядов населения, представленных уже в Думе, не был лишен участия в выборах. Это было задание о разыскании квадратуры круга, но спорить не приходилось.

Руководствуясь приготовленным для И. Л. Горемыкина проектом, я составил три варианта изменений. Один, исходивший из начал раздельности выборов по состояниям, проведенного снизу доверху и предрешавшего количество членов Думы от каждого разряда населения; второй, основанный всецело на действующей системе, но с предоставлением в губернском избирательном собрании большинства голосов, а следовательно, и контроля над выборами, представителям сравнительно крупного владения, то есть в размере не менее полного земского ценза, и с обеспечением за каждым разрядом избирателей одного члена Думы от губернии от их среды. В том и другом проекте были введены, разумеется, все те исправления, которых приходилось ранее добиваться в порядке сенатских разъяснений, равно как был проведен ряд несколько искусственных мер в виде

права министра внутренних дел разделять избирательные съезды на отделения по местностям или разрядам цензов, что открывало для правительства возможность комбинаций, обеспечивающих от проникновения в Думу в слишком большом количестве нежелательных элементов. Главная же суть заключалась, конечно, в перераспределении количества выборщиков между отдельными разрядами избирателей, дававшем перевес более крупному владению, и в перераспределении членов Думы между губерниями и областями, дававшем численное преимущество местностям более культурным.

Наконец, третий проект опирал выборы на уездные земские собрания, а в местностях, где земства не были введены, на соответствующие им, образованные на тех же началах избирательные собрания. Этот вариант, разумеется, не мог удовлетворить требование о сохранении за всеми избирателями их прав, так как круг участников в земских выборах был гораздо уже, чем в выборах в Государственную думу, и был представлен, так сказать, для очистки совести.

Вместе с этим изготовлен был и проект изменений Основных законов, а равно учреждений Государственной думы и Государственного совета. Намеченные изменения открывали правительству возможность регулировать порядок рассмотрения Думой и Советом законопроектов путем определения очереди их рассмотрения и установления сроков, несоблюдение которых влекло за собой право правительства вводить своей властью в действие те или иные меры; предполагалось также представить правительству право требовать вторичного рассмотрения Думой вопросов, разрешенных ею незначительным большинством голосов.

Столыпин вначале полон был решимости произвести коренное изменение в отношении правительства к Государственной думе, обеспечив за первым более властное участие в устранении страны, но потом, как часто с ним бывало, заколебался, остыл, и предложения эти как-то сами собой сошли на нет.

Проекты изменения избирательных прав или, вернее сказать, их наброски, так как для подробной разработки не было времени, были в начале мая [1907 г.] рассмотрены в Совете министров в нескольких заседаниях, подкрепленных участием И. Л. Горемыкина и еще кое-кого из бывших министров. Потянулись обычные в подобных, мало знакомых с техникой дела собраниях длинные и нудные прения, которые крайне осложнял государственный контролер Шванебах, очень начитанный и остроумный человек, но пустой и поверхностный; он был очень

настойчив и, как немец, стремился разрешать каждый вопрос не с практической, а с принципиальной точки зрения, которая именно и отсутствовала всегда в его рассуждениях. Совет после долгих колебаний остановился на второй схеме, и вопрос был представлен на разрешение его величества, который с мнением Совета согласился. Эта вторая схема была кем-то названа «бесстыжей», так как в ней слишком откровенно проявлялась основная тенденция – пропустить все выборы через фильтр крупного владения. Когда Столыпин докладывал дело государю и, смеясь, упомянул об этом определении, то государь, улыбнувшись, сказал: «Я тоже за бесстыжую».

Пока шли разговоры и составлялись пояснительные чертежи к схемам, в чем помогал А. К. Черкас, оказавшийся искусным рисовальщиком, время бежало, и наступили первые дни июня. События тоже двигались, и правительство оказалось 4 июня перед необходимостью немедленного роспуска Думы, а нового закона еще не было. Государь был недоволен затяжкой и прислал Столыпину записку в самых энергических выражениях. В записке государя было сказано «пора треснуть». Столыпин имел неосторожность огласить ее в Совете. Тотчас подскочил сзади Шванебах и заглянул через плечо председателя на записку, которую тот не успел спрятать, скопировал ее в свою записную книжку (он состоял, как потом выяснилось, осведомителем австрийского посольства не то по снобизму, не то по иным каким-то соображениям). На другой день слова государя получили огласку в городе.

Пришлось составлять закон сломя голову. На эту работу ушли два дня и две ночи. Для помощи в редактировании закона и для его переписки я пригласил испытанных чиновников министерства: А. К. Черкаса, управляющего страховым отделом, и А. А. Евтифьева, впоследствии помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства, на молчаливость которых можно было вполне положиться, и таких же двух переписчиков – Я. Я. Лимаря и Коломийца.

Просидев первую ночь, Евтифьев так изнемог, что свалился с ног, и его пришлось отправить домой; мы же с Черкасом, на долю которого выпало произвести расчет всех выборщиков и составить им расписание, – работа, требовавшая чрезвычайного внимания, – продержались и вторую ночь, равно как оба переписчика, совершенно распухшие от напряжения и бессонницы… Как бы то ни было, к вечеру 6 июня закон был изготовлен и переписан начисто. В тот же вечер его заслушали в Совете министров, формально разумеется, так как времени не было, и с бывалым

курьером отправили в Царское Село на высочайшее утверждение.

Курьеру Меншагину – мафусаилу министерства – какими-то одному ему известными способами удалось проникнуть во дворец и укараулить государя в коридоре, когда он шел спать. Его величество тут же, в коридоре, сделал запись об утверждении. В первом часу закон был привезен в Елагин дворец, где заседало правительство, и тотчас был отправлен в Сенатскую типографию. Хотя он занимал несколько десятков страниц, типография все же успела набрать, и к утру он появился в Собрании узаконений, как распубликованный Сенатом. Сенат его и не видел, и обер-прокурору Н. А. Добровольскому пришлось поднести определение к подписанию сенаторов уже по опубликовании закона. Сенаторы приняли новый закон как упавший с неба и молча подписали задним числом определение. Впрочем, в этом не было ничего особенного, так как при множестве опубликовываемых законов обер-прокурор имел от Сената частное полномочие распубликовать бесспорные, не выжидая рассмотрения их Сенатом. Оппозиция впоследствии трактовала этот случай с большим негодованием, но примечательно, что как только ее вожди вошли в состав Временного правительства, так первым же делом прибегли к изданию законодательного свойства правил без предварительного опубликования их Сенатом.

Манифест, при котором был опубликован новый закон, не был актом, изданным по статье 87 Основных законов, а актом учредительным, непосредственно исходившим от верховной власти, а следовательно, не подлежавшим последующему одобрению Государственной думы и [Государственного] совета. Манифест был составлен лично Столыпиным. Он был очень доволен своей редакцией, и когда после его смерти пришлось разбирать его письменный стол, то там оказался черновик этого акта в особом конверте, на котором рукой Столыпина было написано: «Моему сыну».

Теоретики государственного права и оппозиция всячески изощрялись в критике нового закона. Единственно правильное и благожелательное его истолкование дано было иностранцем, знавшим Россию лучше многих русских, Анатолем Леруа-Болье в статье, помещенной в одной из парижских газет. Бесспорно, что порядок издания его стоял в формальном противоречии с Основными законами, и в нем было бесчисленное количество недостатков с точки зрения теоретической, но в условиях, в которых находилось тогда правительство, другого выхода не было. Производить новые выборы на прежних основаниях значило ввергать страну лишний раз в лихорадку без всякой надежды получить Думу, способную к производительной работе. Надо

было, следовательно, или совсем упразднить народное представительство в том виде, как оно было создано в 1905–1906 годах и перейти к системе диктаторского управления, что, вероятно, было бы самое лучшее при условии, чтобы диктатор двигал жизнь, а не ставил ей препон, или к системе областного представительства, мысль о котором еще недостаточно созрела, или, наконец, попытаться на основе нового узаконения избрать из русского хаоса по крупинкам те элементы, в коих жило чувство русской государственности, и из них создать Думу как орган перевоспитания общества.

Теперь, когда на всем свете происходит крушение парламентской идеи, непригодность которой в современных громадных государствах, при наличии в парламентах партий, отрицающих начало единства нации и самое понятие отечества, становится ясным, что мысль о совершенном упразднении Думы, вероятно, не показалась бы столь рискованной. Но в то время кризис еще не назрел с нынешней его очевидностью, и Столыпин, да и государь вступать на новый путь не решались. При таких условиях что можно было сделать, кроме изменения закона в чрезвычайном порядке тою исторической властью, которая создала Россию, то есть властью самодержавного царя? Закон этот дал правительству послушное и гибкое орудие для отбора того, что было лучшего в русском обществе, наиболее прочного и государственного. И та Дума, которая на основании его была выбрана – Третья, – была первым, хотя, увы, и последним в России представительным учреждением, которое оказалось способным к творческой работе.

И в этом факте его лучшее оправдание.

И Первая, и Вторая Думы приоткрыли картину народных настроений, которые не представляли себе ни правители, исходившие из понятий, завещанных официальным славянофильством, ни даже общество, исходившее из представлений народнических. Она вполне оправдывала пророчество, вырвавшееся у Сипягина после объезда им Поволжья: «Мы стоим на вулкане». Огонь социальной зависти, таившийся в недрах России, в ее полуобразованных слоях, прорвался тут наружу, угрожая испепелить самое здание государственности. Раздел имуществ, разграбление культуры, полнейшее презрение к историческому строю оказались единственными лозунгами, доступными пониманию социалистов, имевших за собой чуть не половину Второй Думы; кадетствующая интеллигенция, легкомысленно радикальная, подпираемая евреями и другими инородцами, рвавшаяся к власти и наивно мечтавшая пройти к ней на спинах своих левых союзников

противовесом социалистам служить не могла; голос умеренных элементов тонул в общем хоре.

Дать выход этому огню наверх – плыть по течению, стараться подладиться к голосу этой Думы – значило бы раствориться в анархии. Оставалось одно – прикрыть отдушину, закупорить ее в надежде, что огонь притухнет и даст время принять меры к подсечению его корней и к укреплению правительственного аппарата. Вырвать Государственную думу из рук революционеров, слить ее с историческими учреждениями, вдвинуть в систему государственного управления – вот какая задача становилась перед верховной властью и правительством.

Историческая аналогия – пример Пруссии, где на заре народного представительства сложились такие же примерно противоречия между составом палаты и властью, повелительно указывала единственный возможный выход – изменить избирательный закон, разгрузить Думу от социалистов и кадетов и усилить ее умеренное крыло. Колебаний тут быть не могло – они являлись бы преступлением. Говорить, как многие тогда говорили, были намеки и в Совете министров, что изменение верховной властью недавно лишь изданного ею торжественного акта явилось бы опасным ударом по народному правосознанию, – значило не понимать сложившейся обстановки. Состав Государственной думы и ее устремления ясно свидетельствовали, что именно правового-то сознания и желания стоять на почве права и не было в тех слоях населения, которым удалось получить в Думе большинство. Это сознание надо было в них еще создавать и воспитывать. А для этого требовались долгие и долгие годы спокойного, творческого труда, а не доктринерского квиетизма[41].

Конституция, самая широкая, не могла бы предотвратить смуты. Конституция, под именем которой русская интеллигенция разумеет обычно парламентаризм, передав власть в руки кадетской группы, подбитой социалистами и подпираемой сзади советами, неизбежно вывела бы Россию на дорогу Временного правительства, то есть разрушения исторических основ порядка и непротиводействия пропаганде крайних элементов.

Парламентское правительство того времени неизбежно осуществило бы следующую государственную программу:

1. Замену полиции милицией, подчиненной органам местного самоуправления.

2. Замену губернаторов лицами, избираемыми земствами, притом сильно демократизированными.

3. Свободу печати, сходок, демонстраций и всякой агитации в тех широких пределах, в каких понимала эти свободы Первая

Дума.

4. Допущение советской организации, возникшей еще в смуту 1905 года.

5. Ослабление дисциплины и устойчивости армии путем расширения самостоятельности нижних чинов и сокращения сроков военной службы.

В результате правительство это, а с ним и весь государственный порядок, были бы опрокинуты союзом городского промышленного пролетариата, железнодорожных служащих и разложившейся солдатчины ранее, нежели практика власти внесла бы в мышление общественных деятелей то отрезвление, которое в теории должно было бы вызвать у них чувство ответственности. Этот спасительный перелом мог бы наступить лишь при условии, если бы общественность имела в России широкий фундамент, чего в действительности не было, ибо на месте, внизу, она и ее идея никогда реального значения не имели; все влияние находилось в руках третьего элемента, и возможность говорить с толпой не на барском, а на более понятном ей простом языке давала в руки этого элемента оружие слишком сильное и слишком соблазнительное для того, чтобы он им не воспользовался.

Правительство опиралось на силу, значение которой плохо учитывало, которую долгое время оставляло без ремонта и которой пользоваться не умело, но все же на силу реальную. Кадетская же партия, задававшая тон в Думе, не имела за собой ничего, кроме тумана общественности. Она была уверена в том, что является избранницей народа, но в действительности народ кадетов знать не хотел и сами кадеты народа не понимали.

Издание нового избирательного закона не разрешало еще стоявшей перед правительством задачи. Закон этот, как искусственный, мог быть только мерой временной. Его основой служило крупное владение, которое быстро разлагалось в условиях переходного времени, а следовательно, и постройка на нем утвержденная, должна была в более или менее предвидимом будущем потерять свое значение. Задолженность дворянского и вообще крупного землевладения, в связи с деятельностью Земельных банков и общими экономическими условиями, направлявшими сельское хозяйство на путь интенсивного использования земли, имели следствием быстрое раздробление владений и переход земель в руки мелких собственников из крестьян, а в подгородных местностях – и лиц разных других состояний. В соответствии с этим должны были изменяться и результаты выборов, ибо преимущественное влияние переходило к мелкому землевладению, а оно должно было вынести на

поверхность политической жизни совершенно другие социальные слои и дать иной состав Думы. Притом процесс раздробления владений, как можно было предвидеть, должен был идти гораздо быстрее, чем политическое воспитание населения; в результате возникало вполне основательное опасение, что последующие Думы вновь дадут преобладание некультурным слоям с их первобытными воззрениями на государство и собственность.

Наряду с этим становилось все более и более ясным, что сосредоточение к одному месту всех дел по управлению такой громадной империей приводило, с одной стороны, к крайней медленности их разрешения, а с другой – обобщая формулы их решения для столь различных условий, какие представляли собой отдельные части России, придавало самой постановке всякого вопроса в правительстве, а тем более в Думе, слишком отвлеченный оттенок, имевший следствием склонность законодателя к нивелировке жизни. Ярким примером служил земельный вопрос. Имея для различных местностей разное значение и разный объем, в зависимости от их особенностей, истории и психологии населения, вопрос этот, вместо практического в каждой данной местности решения, ставился общественными кругами во всероссийском масштабе и тем самым склонялся к радикальному разрешению, основанному на идее отвлеченного права каждого человека на участие в пользовании своей долей из совокупности всех земель данного государства.

Но было и еще одно обстоятельство, с которым приходилось считаться. Централизация высшего управления не давала выхода жажде деятельности и порывам честолюбия, накоплявшимся в среде местных интеллигентных классов, быстро возраставших в численности. Хотя Россия в смысле возможности восхождения к власти отдельных лиц была страной едва ли не самой демократической (все высшее чиновничество, не исключая и министров, слагалось по преимуществу из лиц невысокого происхождения) и управление империи было наименее классовым, но общее количество его элементов было незначительным. Местные таланты и честолюбия при всем старании почти не имели возможности пробиться к центру или занять удовлетворяющее их положение на местах. Поэтому они силою вещей становились во враждебное отношение к центральной власти и только путем выхода из-под ее опеки, хотя бы и ценой разрушения строя, могли надеяться найти простор для своего развития и проявления. Обстоятельство это, прежде всего, сказывалось на окраинах, особенно западных, но сильно чувствовалось и в центре.

Наконец, объединение в одном представительном

учреждении всех наиболее деятельных сил оппозиции умножало ее значение и увеличивало затруднения правительства.

Надо было заблаговременно искать выход из этого положения. Могут, конечно, спросить: если государственная власть того времени не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы перейти к системе диктатуры, то почему не уступала место тем общественным силам, которые легче нее могли найти опору в народном представительстве и повести его за собою; иначе говоря, почему не решалась перейти к системе парламентарного управления. Оппозиция приписывала это эгоистическому упорству правящих классов, не желавших терять блага, связанные с властью, и нежеланию государя расстаться с призрачным хотя бы самодержавием. Действительная причина лежала, однако, не в этом, а в убеждении как государя, так и правительственных кругов в совершенном отсутствии общественных элементов, сколько-нибудь подготовленных к делу управления и способных отправлять обязанности власти. И последующие события показали, что они были правы.

В составе лиц, выдвинутых политическими кругами, деловых людей не оказалось, а оказались либо теоретики и доктринеры, не отдававшие себе отчета в том, что такое управление, подобные Милюкову, или губернские и уездные пророки, подобные Родичеву и Стаховичу. Революции и последовавшие события сделали это для всех очевидным. Достаточно прочитать характеристику, сделанную своим человеком – Набоковым[42], для того, чтобы потерять всякие в этом отношении иллюзии. Это были мечтатели, способные разрушать, но не способные управлять. И если бы власть была вручена им в то время, то не подлежит сомнению, что постигшая Россию катастрофа произошла бы десятью годами раньше и не могла не произойти. Эти люди сделали бы тогда то же самое, что сделали в 1917 году, то есть, развязав руки социальным агитаторам и открыв им все пути для агитации, противопоставили бы их разрушительному действию только словесные увещевания и вопли о «преступлениях старого режима». Не следует забывать, что программа разрушения администрации и полиции с заменой губернаторов земскими комиссарами, а полиции – подчиненной городским и земским управлениям милицией, равно как амнистия и возвращение к деятельности всех политических осужденных, в том числе террористов, осуществленная с места же Временным правительством в марте 1917 года, была не уступкой тогдашним крайним элементам, образовавшим Совет солдатских и рабочих депутатов, на который кадеты сваливают теперь ответственность за свои действия, а основой той самой программы управления

Россией, которую в 1906 году представители кадетской общественности выдвигали в переговорах со Столыпиным об образовании общественного кабинета.

Выход из создавшегося положения можно было поэтому искать только в децентрализации как управления, так и законодательства, расчленив последнее на общегосударственное и местное, которое являлось бы развитием права обязательных постановлений, предоставленного действующим законом земским собраниям и городским думам. В свою очередь, это начало можно было обосновать лишь на разделении империи на области, представляющие однородное целое, если не в этнографическом, то, по крайней мере, в экономическом и бытовом отношениях, с образованием в них представительных учреждений переходного типа от хозяйственного к политическому. Само собой разумеется, что при этом приходилось считаться с особыми последствиями в отношении окраин, имевших притязания на политическую автономию, к которой подобная мера могла бы являться первым шагом.

Шаг этот вызвал, разумеется, много возражений. Начало единства и неделимости империи было определенно выражено в Основных законах, и общее настроение правящих верхов толковало его широко, считая нарушением всякое местное обособление как наводящее на мысль о федерации и сепаратизме. Точка зрения эта имела свои глубокие корни и в интеллигентных слоях, особенно славянофильских, которые издавна стремились распространить на всю Россию одинаковые порядки; насколько глубоко коренилось это инстинктивное чувство и в остальных слоях образованного общества, стало ясно после переворота, когда оно нашло себе выражение, почти болезненное, в несогласии на какие-либо отступления от начала единства, даже ценою помощи окраинных элементов в борьбе с большевиками, от исхода которой зависело самое бытие России как великой державы.

Но система эта имела громадные и очевидные преимущества. Замыкая вопросы устройства народной жизни в областные рамки, она придавала практичность их решению и сокращала пределы теоретического размаха мысли. Она раздробляла поле социалистического натиска, выводя из-под воздействия идей рабочей демократии области чисто земледельческие. Она открывала путь к более правильному разрешению земельного вопроса, ограничивая его более узкими рамками. Она открывала простор местным творческим силам и, что имело немалое значение, давала возможность применять в разных местностях разные системы выборов, приспособленные к особенностям их

общественного строя. Она ослабляла обостренность национальной борьбы на окраинах, облегчая для правительства возможность отказаться от непременной на всем протяжении империи защиты русского национального интереса как преимущественного (например, в Польше, в прибалтийских губерниях) и сосредоточиться на более интенсивной его охране там, где ему угрожала действительная опасность, как, например, в западном крае. Она открывала, наконец, возможность перевода некоторых местностей на положение колоний с выделением их из общего строя империи.

Одним из существеннейших условий будущего России являлись пределы ее «обрусения», разумея под этим словом распространения русской культуры и господствующего положения русской национальности по всему пространству империи. Первенство языка и внешнего обихода и право каждого русского чувствовать себя дома на всем протяжении империи вытекало с необходимостью из ее формального единства и было тесно с ним связано. Если в государстве федеративном вполне понятны местные национальные особенности, и никто не может претендовать на то, чтобы повсюду найти привычные условия национальной жизни, то в государстве едином требование первенства господствующей национальности неизбежно.

С точки зрения интересов русского народа как нации и русской империи как единого организма, этим народом созданного, самым выгодным и правильным решением было бы постепенное превращение всех подданных России в национально русских, с возможным подавлением других национальных начал. Эта мысль если не выражалась прямо, то неизбежно преподносилась умственному взору всех государственных деятелей, стремившихся рассматривать Россию как единое целое. Она нередко становилась и прямой целью нашей внутренней политики последнего столетия, сначала в отношении местностей, где, как в западном крае, приходилось стремиться к очищению русской национальной почвы от налета польской цивилизации, нанесенного в течение долголетнего политического господствования, а затем, в большей или меньшей степени, и в отношении окраин, где русское население было малочисленное или вовсе отсутствовало.

К сожалению, однако, коренная Россия не располагала запасом сил культурных и нравственных, которые могли бы служить инструментом подобной ассимиляции, тем более что многие окраины, вследствие особенностей их истории и географического положения, в культурном отношении стояли гораздо выше коренной России. Поэтому усилия, направлявшиеся

на их обрусение и сводившиеся преимущественно к мерам насильственного воздействия, оказывались тщетными и лишь озлобляли местное население. В то же время усилия эти истощали русское национальные ядро, принуждая разбрасывать его малоокрепшие силы на огромном пространстве империи и тем понижать в среднем уровень служилого класса, призываемого к отправлению государственных задач.

Высылаемые на окраины массы русского чиновничества не только стояли на более низкой ступени развития, и умственного, и нравственного, чем соответствующие разряды туземного населения, но со свойственной русской полуобразованной среде наклонностью к анархизму и приверженностью крайним социальным и экономическим теориям, приносили эти идеи с собой в местности, ими еще не зараженные. Примером мог служить Туркестан, где выборы в Первую Думу дали самые отрицательные результаты именно благодаря влиянию русских элементов в виде мелкого чиновничества и всякого рода техников, железнодорожных и иных, которые при безлюдии заняли там господствующее и даже командующее положение. Достаточно указать на члена Первой Думы Наливкина, который был в Туркестане вице-губернатором, а в Думе оказался едва ли не анархистом.

Необходимость экономии национальных сил и более тщательного их подбора для служения государственным целям повелительно требовала ограничения русификационной политики и привлечения к управлению окраинами местных элементов, что, в свою очередь, предполагало обеспечение им в известных пределах возможности беспрепятственно проявлять свои национальные стремления, не стесняемые подавлением их, хотя бы и чисто формальным, русским национальным началом.

И эта практическая потребность побуждала относиться с большим интересом к постепенной децентрализации империи, которая по тем же, видимо, соображениям, хотя и видоизмененным некоторыми личными симпатиями, побуждала еще императора Александра I проектировать дарование окраинам их национального строя с сохранением за коренной Россией значения регулирующего империю центра, главенствующего в ней в военном отношении (военные поселения, входившие в эти планы в качестве необходимой, по мнению автора, предпосылки, были устраиваемы только в пределах коренной России).

Мысли эти, получившие в свое время выражение в проекте Конституции, составленном по указаниям императора Александра I Новосильцевым, и в других мероприятиях, занимавших внимание императора в последние годы его жизни,

очень пленяли Столыпина, но говорить о них громко он не решался, и, кажется, кроме А. В. Кривошеина, да и то лишь впоследствии, никто в тайну посвящен не был.

Из них вытекали два составленные мною в 1907–1908 годах проекта: первый – об общем переустройстве управления империей на указанных началах, и второй, представлявший подход к практическому решению в применении к частному случаю, о выделении Холмского края[43] из административных пределов этнографической Польши.

Первый предусматривал разделение империи на одиннадцать областей, с образованием в каждой областного земского собрания и областного правительственного управления с гражданским начальником во главе, имевшим заменить собой генерал-губернатора. Области эти были: Прибалтийская, Северо-Западная, Польша, Правобережная и Левобережная Украина, Московская (Центральная промышленная), Верхнее и Нижнее Поволжье, Северная Россия (две области) и Степная (Западная Сибирь). Остальные части империи, то есть военные казачьи области, инородческие, Туркестан, Восточная Сибирь, Крым и Кавказ оставались вне этого разделения и вне участия, за исключением двух последних, в общегосударственном представительстве.

Областные земские собрания, образуемые на общих основаниях, принятых для земских выборов, получали широкое право местного законодательства по всем предметам, не имевшим общегосударственного значения, причем решения их должны были приводиться в исполнение, в зависимости от предмета, или с утверждения начальника области, в каковом случае они имели силу обязательных постановлений, или с высочайшего утверждения, в каковом случае они приобретали значение местных законов.

Общегосударственное законодательство сосредоточивалось в Государственном совете, несколько видоизмененном в его составе.

Проект этот обсуждению в Совете министров не был представлен на высочайшее благовоззрение при обстоятельно мотивированном всеподданнейшем докладе на предмет предварительного одобрения для последующей детальной обработки.

Государю предположения понравились, но и он высказывал опасения, что подобная мера могла бы явиться шагом к нарушению единства. Вопрос был отложен до указаний опыта Третьей Думы.

Подлинный всеподданнейший доклад по этому предмету оставался у Столыпина и был, вероятно, отвезен им, как и многие

другие документы секретного свойства, для хранения в личный архив (в Колноберже, его ковенском[44] имении), последний же после занятия этой местности немцами был увезен в Берлин и, как сообщали тамошние газеты, передан по распоряжению императора Вильгельма профессору Шиману, известному специалисту по истории России. Копия доклада и проект должны находиться в архиве Государственного совета, в составе бумаг, сданных мною туда на хранение в 1913 году. (К 1915 году этот проект положен был в основание предположений об устройстве управления в царстве Польском после войны, принятых большинством членов высочайше образованного летом того же года совещания в составе шести русских и шести польских членов обеих законодательных палат, под председательством И. Л. Горемыкина, и в котором фактически пришлось председательствовать мне в качестве заместителя председателя.)

Второй проект – выделение Холмского края из состава Польши – имел нормальное основание в соответствующих ходатайствах местного русского населения, то есть, вернее, православного духовенства, являвшегося в качестве выразителя настроений этого населения, поддерживаемого национальными кругами в России, которые надеялись охранить этим путем население от полонизации и слить с общерусской стихией. В действительности же, по первоначальной, официально никогда открыто не высказанной мысли, мера эта имела целью установление национальной государственной границы между Россией и Польшей на случай возможного в будущем предоставления отдельным местностям упомянутой выше самостоятельности в устроении местных дел, которая в применении к Польше могла выразиться в даровании царству автономии. На этот случай заблаговременное выделение из него русской области, население которой еще не слилось с польским и могло быть сохранено за Россией, представляло большие удобства, устраняя вместе с тем одно из существенных препятствий для автономии Польши.

С выделением Холмского края в Польше не оставалось бы места русскому национальному интересу, а оставался бы только интерес государственный; в прилегающих же западных губерниях можно было бы совсем не считаться с польскими национальными интересами.

Сообразно этой мысли, при составлении проекта в состав Холмской губернии выделены были лишь местности, в которых население сохранило русский национальный облик и в большинстве было православным на деле, а не только на бумаге, и где, следовательно, при помощи некоторых мер культурно-

административных можно было закрепить их связь с Россией; те же местности, в которых население было ополячено и окатоличено явно или тайно, были оставлены за Польшей. Последовательность требовала, чтобы одновременно с сим к Польше были прирезаны взамен отделяемых частей Седлецкой и Люблинской губерний прилегающие части Гродненской губернии, а именно некоторые местности Бельского и Белостокского уездов, населенные поляками, чем достигалась бы основная цель размежевания. Но Столыпин на это не решился, опасаясь подвергнуться нападкам со стороны националистических кругов, которые сочли бы недопустимой уступку Польше земель, официально к ней не принадлежавших.

Это было первое отклонение от первоначально намеченных целей; за ним последовали и другие.

Когда дело было внесено в Думу, кажется, уже в конце 1909 года, и поступило на рассмотрение избранной ею комиссии, предположенный правительством объем Холмской губернии подвергся сильной критике со стороны преобладавших в составе комиссии представителей национальной партии. Избранный докладчиком по делу Н. Н. Чихачев, человек очень старательный, но узкий и одержимый манией величия, прочитав кое-какие книги по истории края и объехав наскоро его пределы, выступил с рядом предположений о расширении границ будущей губернии, основанных на соображениях об историческом значении того или иного населенного пункта как памятника русского владения краем. На основании этих соображений комиссия стала расширять пределы будущей губернии, включая в состав ее разные местности, связанные с тем или иным историческим воспоминанием, начиная от времени Владимира Святого. И так как на стороне этой мысли стояло большинство членов комиссии, члены же ее – поляки – заняли в отношении проекта позицию непримиримую вообще, то все предложения принимались. Мне пришлось присутствовать в комиссии, представляя правительство, но так как от Столыпина даны были указания не идти вразрез с желаниями националистов, то приходилось молчать, и в результате намечены были такие границы новой губернии, при которых русское, то есть православное, население оказалось в меньшинстве, не превышавшем 30 процентов. И так как в составе большинства находились все экономические влиятельные группы и многочисленные в том крае польские помещики, то русское меньшинство было осуждено на постоянное поглощение. Таким образом весь смысл меры, с какой бы точки зрения на нее ни смотреть, сводился на нет, и она как бы выражала собою лишь одно стремление во что бы то ни стало

урезать пределы Польши.

Проект был принят в этом виде как Государственной думой, так и Государственным советом уже после смерти Столыпина. Возлагавшихся на этот закон ожиданий он, конечно, не оправдал, тем более что, как впоследствии выяснилось, православное духовенство, агитируя среди населения в пользу подачи прошений о выделении края из состава административной Польши, не скупилось из-под полы на самые широкие земельные обещания, которые в конце концов принесли лишь разочарование.

Следующей мерой, задуманной Столыпиным для укрепления административного строя империи, закончившейся его отступлением перед встреченными препятствиями, были предположения о преобразовании губернского и уездного управления. Сущность этих проектов, получивших окончательную редакцию под личным руководством Столыпина, хотя в большей части унаследованных от прошлого, и которым он придавал с полным основанием весьма крупное значение, сводилась к объединению всего управления в губерниях под руководством губернатора, которому проект присваивал значение агента правительства, а не представителя верховной власти, каковым губернатор являлся по букве закона, давно, впрочем, утратившего практическое значение; с другой стороны – к изменению постановки уездного правления в смысле объединения многочисленных уездных присутствий в одно целое с назначением во главе их и уезда начальника оного и установлением в то же время правильной системы административной юстиции. Вместо потерявшего свое значение уездного предводителя дворянства предполагалось поставить во главе уезда уездного начальника, назначаемого министром внутренних дел и объединяющего в своем лице руководство как уездными присутствиями, так и уездными властями, нечто вроде супрефекта во Франции или ландрата в Германии. Мера эта, как было выше отмечено, вызывалась давно назревшей потребностью, так как при существующем порядке правительство лишено было на местах действительной власти.

Шаг этот представлялся рискованным, ибо вооружал против Столыпина объединенное дворянство, оскорбленное мыслью о потере привилегированного положения, которое оно привыкло занимать в местном управлении. Но он был необходим, если правительство хотело удержать в своих руках порядок в стране. Дворянство, начавшее утрачивать значение с освобождением крестьян, когда оно лишилось не только имущества, но и влияния, к концу царствования императора Александра III из положения элемента, поддерживавшего престол, перешло уже на

положение государственного призреваемого. Оно требовало для поддержания внешности и видимости непрерывных вспомоществований в той или иной форме из средств государственного казначейства и становилось тунеядцем. Между тем, окружая престол и занимая первое место в уездном управлении, оно оттесняло другие классы населения, поднявшиеся на уровень реальной силы.

Мне пришлось председательствовать при рассмотрении этих проектов в Совете по делам народного хозяйства. О первом из них и о свойстве возникших по нему затруднений я упоминаю подробно в другом месте. Что касается управления уездного, то препятствия заключались, как легко было предвидеть, в оппозиции дворянства. Оппозиция эта имела своим главой А. Д. Самарина и велась главным образом за кулисами, вне заседаний Совета, так как против цифр открыто спорить нельзя. А цифры были оглушающие. Из собранных к рассмотрению дела в Совете данных о деятельности уездных предводителей дворянства выяснилась картина, которая даже для нас, чинов министерства, была неожиданностью. Во всей империи (не считая, конечно, предводителей в западных губерниях, которые как чиновники на жаловании, назначаемые правительством, несли службу исправно) оказалось только два уездных предводителя, один Крестецкого уезда Новгородской губернии, другой – не помню какого, которые не пропустили в течение года ни одного заседания состоявших под их председательствованием присутствий. В дальнейшем кривая посещаемости круто шла на понижение, и оказывалось, что лишь менее половины предводителей исполняли до 50 % своих обязанностей; около же трети совершенно их не исполняли, и около половины не жили в пределах своих уездов, бывая в них лишь наездами. Цифры эти были до такой степени неудобны, что Столыпин распорядился не давать им в Совете огласки, и дело ограничилось словесным докладом мною собранию некоторых общих данных, хотя, конечно, из-под руки все знали, в чем дело.

Предположения были одобрены большинством членов Совета по делам местного хозяйства, но под натиском дворянской оппозиции Столыпин отказался от мысли дать ему ход, и проект был спрятан под сукно. Все осталось по-старому, но с этих пор и политика Столыпина пошла под гору и стала размениваться на бесполезные выступления с мерами борьбы с Финляндией, по проведению Амурской железной дороги и т. п. Все это были очень выигрышные выступления с точки зрения успеха в Думе и обществе, но бесцельные и даже вредные с точки зрения интереса государственного. В конце концов от всех начинаний Столыпина

осталось и прошло в жизнь только одно, правда, крупнейшей важности – законы о землеустройстве. Административный же и полицейский фундамент империи остался в архаическом состоянии, совершенно не приспособленным к новым требованиям, выдвинутым жизнью, и государству пришлось тяжело поплатиться за это, когда настали трудные времена.

Уступки и видимое ослабление политики Столыпина ободрили его врагов в Государственном совете, где начался прямой против него поход, имевший следствием отклонение и затяжку в рассмотрении исходивших от него законопроектов, даже таких вне-политичных и вызывавшихся давно назревавшей потребностью, как попытка улучшить положение статистической части в империи[45].

Этим и закончилась попытка укрепления аппарата власти.

За время состояния в должности товарища министра внутренних дел мне пришлось несколько раз навлекать на себя неудовольствие государя.

Как-то в конце 1907 года П. А. Столыпин получил от государя поданное неким доктором Кацауровым всеподданнейшее прошение, начинавшееся словами: «Жалует царь, да не жалует псарь». Проситель жаловался, что последовавшее в свое время высочайшее повеление о выдаче ему пособия на издание газеты «отменено» товарищем министра Крыжановским, который не только отказал в пособии, но даже угрожал закрыть газету, а затем все возбуждавшиеся им, Кацауровым, новые ходатайства по тому же предмету оставил без ответа. «Я обратился, – заканчивал проситель, – к Меншагину, но и от него ответа не получил».

На прошении этом его величество начертал: «На каком основании Крыжановский позволил себе не исполнить моего повеления и кто такой Меншагин?»

Дело было так. За несколько месяцев перед тем П. А. Столыпин передал мне полученное им от государя всеподданнейшее прошение того же Кацаурова о выдаче пособия издаваемой им в Ярославле газете «Русский народ». На прошении была высочайшая резолюция: «Желательно поддержать, если издание того заслуживает».

«Посмотрите, в чем дело, – прибавил Столыпин, – и поступите в соответствии».

Газета представляла собою бесцветный листок крайнего правого направления, наполненный демагогическими выпадами против правительства, которое именовалось, как называли его когда-то славянофилы, «зловредным средостением между царем и народом» и подстрекательством рабочих против фабрикантов и всего экономического строя. Одним словом, эта газета относилась к числу тех крайне правых изданий, которые, как, например, «Почаевский листок», совпадали в своей социальной программе и в способах воздействия на массы с изданиями крайне левых партий.

Отказав посему на точном основании высочайшего повеления в выдаче пособия на издание, «как того не заслуживающее», я вместе с тем при свидании с губернатором Римским-Корсаковым обратил его внимание на то, что газету, если она не изменит своего направления, следовало бы прикрыть.

После этого Кацауров несколько раз напоминал мне письмами о ставшей ему откуда-то известной высочайшей

резолюции, которую он толковал в смысле повеления выдать пособие, и, не получив ответа, обратился с письмом к курьеру Меншагину, который, как все заинтересованные лица знали, развозил по назначению суммы негласных пособий, назначаемых по разным поводам от Министерства внутренних дел.

Все это я изложил в рапорте министру, который вместе с набором номеров газеты и был представлен Столыпиным при его всеподданнейшем докладе на благовоззрение его величества. Через несколько дней доклад вернулся со знаком высочайшего рассмотрения (палочка и две точки). Объяснения были признаны, видимо, заслуживающими уважения. Кацауров пособия не получил, и газета его заглохла.

Через несколько месяцев после этого в Совете по делам местного хозяйства рассматривался выработанный Министерством внутренних дел проект преобразования губернского управления.

Совет по делам местного хозяйства, образованный еще при В. К. Плеве, но созванный впервые Столыпиным, был в то время модным учреждением, как его называли, «Преддумьем», так как через него предполагалось проводить все законопроекты, касающиеся местного самоуправления, прежде внесения их в Думу. Он был образован из представителей губернских земств и крупнейших городов, по закону приглашаемых министром внутренних дел, по его усмотрению, в действительности же избираемых этими учреждениями. В нем участвовали, по особому приглашению, также некоторые губернаторы и предводители дворянства. Столыпин рассчитывал найти в этом учреждении, как составленном из деловых земских и городских элементов, точку опоры для последующего проведения законопроектов в Государственной думе, где деловитость обсуждения нередко отодвигалась на задний план партийными соображениями и лозунгами.

Мне приходилось обычно председательствовать в Совете, заменяя министра, который являлся его председателем по закону, и я получил инструкции стремиться к возможному согласованию всех точек зрения в Совете, ни в чем, однако, не стесняя прений и соблюдая всевозможную любезность и предупредительность в отношении местных представителей.

И на этот раз, как обычно, все шло гладко и деловито, прения текли и, наконец, дошли до статьи проекта, определяющей в общем виде права и обязанности губернаторов и их положение в отношении правительства.

Действовавший по этим предметам закон весьма отстал от жизни. Он был издан в то время, когда губерний и губернаторов

было мало, когда губернаторы являлись в них полными хозяевами, самые задачи управления были гораздо менее сложны, и потому высочайшая власть имела возможность более или менее входить в местные дела и непосредственно руководить деятельностью губернаторов. В соответствии с сим закон давал губернаторам высокое положение в общем кругу государственных установлений и широко очерчивал их полномочия. Закон гласил: «Губернаторы, как непосредственные начальники вверенных им высочайшей государя императора волей губерний, суть первые в оных блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия. Губернаторы получают указы и повеления только от императорского величества и Правительствующего сената и предоставляют рапорты и донесения только государю императору и Правительствующему сенату».

Время шло, количество губерний умножалось, росли число и сложность местных учреждений, многие из них выходили из-под ведения губернаторов и становились независимыми, как, например, судебные и контрольные, или лишь состоящими под надзором губернаторов, как земские и городские. Вместе с тем увеличивалась непосредственная зависимость отраслей управления от центральных ведомств, сносившихся с ними, минуя губернатора. В связи с усложнением государственного строя верховная власть теряла возможность непосредственно руководить ходом губернского управления. Положение губернаторов принижалось. Из представителей верховной власти, какими они когда-то были, губернаторы становились органами правительственного надзора, фактически представителями министра внутренних дел, сохраняя прямую власть управления преимущественно лишь в области охраны порядка и спокойствия. Несоответствие этого положения с определением, которое давал положению губернатора закон, в связи с тем обстоятельством, что они продолжали представлять всеподданнейшие отчеты по управлению губерниями непосредственно его величеству, а следовательно, сохраняли прямое отношение к верховной власти, вносило немало недоразумений, а случалось, и нарушало дисциплину в управлении ведомством, открывая для губернаторов формальную возможность становиться в оппозицию министру и пытаться проводить личную политику путем непосредственного обращения к престолу.

Исходя из такого положения вещей, проект Министерства внутренних дел давал власти губернатора определение в выражениях, более соответствовавших действительному положению, приравнивая его приблизительно к положению префекта, представителя правительства, первого в губернии

чиновника. В новой формуле государственной власти не заключалось более и указаний на их первенство в защите на местах прав самодержавия.

Текст статьи вызвал бурные протесты со стороны нашумевшего впоследствии А. Н. Хвостова, в то время нижегородского губернатора, одного из представителей личных устремлений в местной политике.

Это был человек очень неглупый, талантливый и ловкий, но какой-то неистовый, почти первобытный по инстинктам, и вдобавок совершенно аморальный, способный ради личных выгод и целей на какие угодно поступки. Эти печальные свойства характера подчеркивались карикатурной внешностью, напоминавшей облик гориллы или иного антропоида. «Соловей-разбойник», как его называли в губернии.

Он долго декламировал, поднимая вопрос на неподобающую высоту и явно стараясь выставить на вид свою исключительную преданность престолу. Никто, однако, даже из числа губернаторов, которые в душе все, разумеется, не одобряли проекта, как умалявшего их положение, Хвостова не поддержал, и статья была принята в редакции министерского проекта.

Когда перешли к следующей, в зале появился представитель саратовского губернского земства С. А. Панчулидзев, отставной кавалергард, автор истории полка, человек крайне неуравновешенный, одержимый манией величия. Он стал просить слова и заявил, что, будучи вызван великой княгиней Марией Павловной, не смог вовремя прибыть в заседание и принять участие в обсуждении названной статьи и протестовать против этой части проекта, и потому просит вернуться к ее обсуждению.

Закончив рассмотрение очередной статьи, я попросил собрание вернуться к предшествовавшей и заслушать мнение Панчулидзева. Оно свелось к тому же примерно, что и мнение Хвостова, только было выражено в еще более крикливой форме. Панчулидзев усматривал в проекте нарушение прав верховной власти и чуть ли не государственную измену. Преувеличенный тон его слов резал ухо и вызывал в собрании ропот неудовольствия. Никто к оратору не присоединился, и мне ничего более не осталось, как еще раз удостоверить, что статья принята Советом, и предложить несогласным, если они пожелают, приложить к журналу свое отдельное мнение, что, сколько помнится, кто-то из них и сделал.

Обиженный Панчулидзев демонстративно вышел из зала и более в заседаниях не появлялся. (Любопытно отметить, что после революции тот же Панчулидзев немедленно перекинулся на сторону новой власти и стал вместе со Щегловитовым издавать

материалы по каракозовскому делу[46], хранившиеся в архиве Государственного совета.)

Прошло недели две или более, и вот Столыпин получил от государя записку следующего примерно содержания: «До сведения моего дошло, что в заседании Совета по делам местного хозяйства товарищ министра Крыжановский настоял на изменении закона о губернаторах в смысле отмены обязанности их блюсти права самодержавной власти. Что это значит? Я слышу о его действиях не первый уже раз».

Донося министру рапортом, как происходило дело, я пояснил, что проект губернской реформы был составлен по личным его, министра, указаниям, что он был рассмотрен в Совете министров, причем спорная статья останавливала на себе особое внимание, подвергалась всестороннему обсуждению, была одобрена и самый журнал Совета министров по делу с изложенными в нем суждениями был высочайше утвержден. При таких условиях, заступая место министра по председательствованию в Совете, я, если бы и хотел, не имел права противиться принятию спорной статьи как высочайше одобренной.

Вместе с тем, ввиду содержавшегося в высочайшей записке прямого указания на то, что действия мои и ранее вызывали неодобрение его величества, я приложил к рапорту всеподданнейшее прошение об увольнении от службы по болезни, прося П. А. Столыпина повергнуть его на благовоззрение государя.

Столыпин повез рапорт к государю и вернул мне его со своей надписью: «Его величество изволил признать действия сенатора Крыжановского правильными, а ходатайство его об увольнении от службы повелел оставить без последствий». Очевидно, что на такой именно резолюции Столыпин и должен бы настаивать, ибо неодобрение моих действий являлось бы прямым осуждением его, Столыпина, политики в довольно для него щекотливом вопросе. Поэтому и высочайшая резолюция, отмеченная Столыпиным, могла быть лишь уступкой со стороны государя его настояниям. Обстоятельство это как бы подтверждалось тем, что Столыпин взял с меня слово сохранить весь этот эпизод в строжайшей тайне.

Кто донес государю подобную нелепость, Хвостов или Панчулидзев, осталось невыясненным, так как, по словам Столыпина, государь замял разговор и уклонился от ответа.

Наконец, последний случай из известных мне относится к ряду столкновений с вождем «Союза русского народа» А. И. Дубровиным.

Дубровина я увидел впервые 12 августа 1906 года, в день, когда была брошена бомба на даче министра внутренних дел на Аптекарском острове. Утром (я жил тогда на соседней казенной даче) приехал Пуришкевич[47], которого я давно знал по службе в министерстве, и привез с собой Дубровина, ранее мне не знакомого. Оба они направлялись на прием к Столыпину, намереваясь жаловаться на действия какого-то исправника, чинившего якобы кому-то из них незаконные притеснения. Я стал уговаривать их не беспокоить министра подобными пустяками и обратиться к товарищу министра, ведавшему полицией, но они упорствовали. Во время этого разговора раздался взрыв на министерской даче, и когда мы прибежали на место, то Дубровин, врач по специальности, подал первую помощь пострадавшим, в их числе и детям Столыпина. С этого и началось их знакомство.

Дубровин и Пуришкевич были в это время заняты созданием «Союза русского народа», учреждения, которое по мысли своей являлось прототипом союза фашистов, спасшего Италию на наших глазах от захвата власти большевистскими элементами[48].

Усилия «Союза русского народа» были направлены на защиту русской исторической государственности от внутреннего натиска элементов разрушения, возглавлявшейся партией социал-революционеров – в области политического террора, и кадетов – в области принципиальной оппозиции и подкапывания власти в общественном мнении. Основная идея Союза – восполнить на началах самообороны, «око за око, зуб за зуб», недостатки правительственной охраны, связанной государственными формальностями; она могла бы, как и показал опыт Италии, принести спасительные результаты, но многие причины помешали ей развиться в полезном для государства направлении.

К числу их относились: неуклюжесть приемов вождей, их упорное стремление связать себя с правительством и вовлечь его агентов в свои организации, а главное, наклонность к демагогии в направлении, сближавшем их с их противниками. Крайнее правое крыло этого движения усвоило себе почти ту же социальную программу и почти те же приемы пропаганды, какими пользовались партии революционные. Разница была лишь в том, что одни обещали массам насильственное перераспределение собственности именем самодержавного царя как представителя интересов народа и его защитника от утеснения богатых, другие – именем рабочих и крестьян, объединенных в демократическую или пролетарскую республику. Различие было почти формальное, и в этом обстоятельстве следует, по-видимому, искать объяснения того странного на первый взгляд явления, что крайние правые и крайние левые так легко переходили и переходят у нас из одного

лагеря в другой.

Иначе, вероятно, вожаки и не смогли бы увлечь за собою массы населения, так как последние, по особенностям нашей среды, не понимали иных призывов, кроме обещаний раздела земель – в деревнях и захвата фабрик – в городах. К этим именно мыслям они были подготовляемы пропагандой интеллигентных классов, начавшейся еще в шестидесятых годах, и текущей проповедью полуинтеллигентов – учителей, статистиков, агрономов и т. п., которая непрерывно текла из школ и из среды «третьего земского элемента», переполненных разными оттенками социалистами.

Но разумеется, эта сторона деятельности правой демагогии становилась пунктом столкновения с правительством, стоявшим в земельном вопросе на точке зрения мирной эволюции, не нарушавшей начала собственности и стремившейся сохранить крупное культурное землевладение, без которого не может существовать ни сельское, ни государственное хозяйство. Попытки же сдержать пропаганду в необходимых границах имели следствием со стороны вождей движения обращения к престолу, в которых действия правительства подвергались ожесточенной критике, не стесненной истиной, и изображались как признак равнодушия к охране исторических начал и как проявление соглашательства с политическими группами, стремящимися захватить государственную власть в свои руки. Понятно, что такие наветы, часто и настойчиво повторяемые, производили свое действие и вызывали со стороны государя подозрительное отношение к отдельным лицам, входившим в состав правительства, и к их действиям.

Мое положение в этих обстоятельствах было особенно деликатное и невыгодное, так как я ведал фондом, из которого выдавались негласные пособия на надобности, связанные с поддержанием политических партий и лиц, содействующих охранению порядка. В их числе одно из главных мест занимали, конечно, правые партии и их печатные издания. Приходилось делать выбор тех, кто был полезнее, и сообразовываться с размерами имевшихся средств, которых не могло хватать на все нужды, а тем более на все желания. И в то время, как П. А. Столыпин при кратких, по необходимости, беседах с лицами, непосредственно к нему обращавшимися, мог ограничиваться немногими словами и давать широкие обещания, направляя за подробностями и за исполнением этих обещаний ко мне, на мою долю выпадала неблагодарная задача входить в рассмотрение каждого отдельного случая по существу, расценивать обстоятельства и людей, торговаться с ними, нередко отказывать

в выдаче денег как по их недостатку, так и по несоответствию просителя или его целей, которое выяснялось при ближайшем ознакомлении; приходилось и прекращать выдачу пособий лицам и изданиям, отклоняющимся от приемлемого для правительства направления деятельности. Наконец, через меня, в связи с выдачей пособий, текли по адресу вождей и выражения неудовольствия правительства и разного рода требования, нередко трудно исполнимые, так как Столыпин отличался повышенной чувствительностью к личным на него нападкам. Отсюда, разумеется, рождалось раздражение против меня всех, кто считал себя обиженным этими разговорами или недостаточно поощренным и причины своей неудачи склонен был усматривать в личном моем неуважении или пристрастии.

На этой почве создались вскоре и неприязненные отношения ко мне со стороны А. И. Дубровина. Первое время по распоряжению Столыпина ему было назначено пособие на нужды «Союза [русского народа]» и на издание газеты «Русское знамя», в размере 15 тысяч рублей в месяц, но вскоре издание это приняло такой тон по отношению к правительству, что пришлось поприжать Дубровина и передать пособие в распоряжение Пуришкевича как проявлявшего более понимания и такта. В дальнейшем правительство обратило главную долю средств, ассигнуемых на поддержку правых партий, в распоряжение наиболее выдававшегося в этой области деятеля отца Восторгова, человека очень властолюбивого и находившегося в неприязненных отношениях с Дубровиным; затем средства начали направляться и в распоряжение Н. Е. Маркова. Дубровин приписал почему-то эти меры моему влиянию и с тех пор начал усиленно жаловаться на меня, а в частности, через посредство генерала Дедюлина, в то время дворцового коменданта, и адмирала Нилова, флаг-капитана его величества, людей весьма порядочных, но очень узких, доводить свои неудовольствия до высоты престола, рисуя меня чуть ли не революционером и понося всячески в своей газете; ему вторил по городу и князь Андроников, успевший втереться в круги, близкие ко двору.

И вот однажды, по поводу помещенной в «Русском знамени» статьи, в которой Дубровин изливал жалобы на недоброжелательное якобы отношение мое к правому делу и утверждал, что у редакции имеются документальные тому доказательства, последовал со стороны его величества вопрос к Столыпину, сделанный с требованием объяснений и документов, о которых говорилось в статье. Вопрос сопровождался, видимо, выражением крайнего неудовольствия, так как Столыпин был очень озабочен и несколько раз переспрашивал, может ли

заверить государя, что у Дубровина нет каких-либо моих писем или иных документов, о которых говорилось в статье. Чтобы успокоить Столыпина, я подал ему официальный рапорт, в котором удостоверил, что заявления Дубровина не соответствуют истине и что у него никаких компрометирующих документов быть не может, ибо таких и не существует.

Всеподданнейший доклад по этому делу был сделан Столыпиным устно, и кончилось тем, что он распорядился наложить на газету штраф в размере 3 тысяч рублей. Мера эта, от принятия которой я его тщетно отговаривал, имела, разумеется, следствием усиление агитации в придворных кругах, перешедшей одновременно и на страницы «Гражданина», в котором одна за другой стали появляться статьи, прямо или косвенно направленные против меня.

Издателя этого журнала князя Мещерского мне никогда не приходилось встречать, но он имел и личный против меня зуб, так как однажды, во время отсутствия Столыпина, мне пришлось по требованию В. Н. Коковцова поприжать газету в лице ее ответственного редактора за ряд неприличных статей, помещенных в ней против Извольского. Признаться, я сделал это скрепя сердце, но пришлось подчиниться требованию, исходившему от заступающего место председателя Совета министров, да и сами статьи действительно были недопустимы в субсидируемом органе печати. Пришлось по этому поводу дать понять редактору, что и пособие (князю Мещерскому выдавалось по Министерству финансов, на основании высочайшего повеления, кажется, еще императора Александра III по 40 тысяч рублей в год) может быть у него отнято, и вообще [могут] обойтись с ним круто, так как он оказался порядочным нахалом. Обстоятельство это, конечно, не замедлило подлить масла в огонь.

В первых числах сентября 1915 года И. Л. Горемыкин, вызвав меня на дачу на Елагин остров, сказал, что едет на следующий день в Ставку и будет просить государя о назначении меня министром внутренних дел.

Предложение мало меня пленило. Я успел привыкнуть к своей новой, очень приятной должности[49], и мысль переменить ее на самую беспокойную, притом в такое время и при недоверчивом ко мне отношении государя, не имела ничего привлекательного. Я предупредил Горемыкина, что он встретит, вероятно, со стороны его величества отказ, и старался отговорить его, чтобы не поставить и себя, и его в неловкое положение. Старик, по обычаю своему, прервал с раздражением: «Ну что за глупости вы говорите! Раз я берусь за дело, то действую не зря,

все обдумав и все предусмотрев. Не такое теперь время, чтобы государь стал перечить. Нужно посадить в министерство того, кто долго там служил и хорошо его знает, а другого нет».

Горемыкин так был уверен в успехе своего ходатайства, что брался одновременно переговорить с его величеством о мерах, которые я считал условием успешного исполнения обязанностей, лежащих на министре внутренних дел. Сюда относилось, прежде всего, немедленное и весьма значительное усиление столичной полиции с образованием в составе ее специальных частей, поставленных, как в Париже, на военную ногу, сформированных из отборных офицеров и нижних чинов, способных к подавлению мятежных движений не только среди фабричных рабочих, но и среди запасных войск Санкт-Петербургского гарнизона, в то время уже затронутых пропагандой. Мера эта была столь очевидно необходима, что ни один человек, знакомый с положением в столице, и с тем, что происходило в России в 1905 году, не мог без нее по чистой совести принять назначение, которое предлагал Горемыкин.

По желанию Горемыкина я послал ему наутро вдогонку программу ближайших подсобных мер, необходимых для поддержания порядка и укрепления положения правительства в Думе, которая сводилась к следующему:

1) разгрузить немедленно Петербург и его ближайшие окрестности от запасных войск;

2) на время впредь до преобразования и усиления полиции вернуть в Петербург на отдых гвардейскую кавалерию;

3) договориться с поляками – членами Государственного совета и Государственной думы – и ценою уступок в вопросе о будущей судьбе Польши оторвать их от оппозиции и привлечь на сторону правительства;

4) прекратить немедленно нелепое гонение на русских немцев, вчиненное по настоянию или примеру (точно не знаю) союзников и подогретое нашими шовинистами, запрятать это дело в долгий ящик, договорившись на этой почве с членами Думы, явно и тайно в том заинтересованными, а их было много, и обеспечить правительству голоса. (Глупейшие меры эти имели следствием разорение десятков тысяч образцовых хозяйств, лишили нас в самое трудное время обильного источника продовольствия и снабжения, ударяли по двумстам тысячам лиц немецкого происхождения, состоявшим в рядах армии, и дали первый толчок к массовым беспорядкам и разграблению имущества в Москве и Санкт-Петербурге; мало того, поднятая им волна начала хлестать и по ступеням трона, тем более что в составе лиц, входивших в царскую семью в ее широком

понимании, были подпадавшие под действие этих мер.)

Думаю, что совокупности этих нехитрых мер, при условии оказания Думе всяческого внимания и при разумной внутренней политике, было бы достаточно, чтобы дотянуть благополучно до конца войны, не подвергаясь риску волнений в Петербурге. Имей правительство в своем распоряжении 27 февраля 1917 года четыре полицейских батальона и десяток броневиков, и бунт был бы подавлен в зародыше; волнения же вне столицы особого значения не имели и к ним можно было относиться спокойно.

Через два дня Горемыкин вернулся из Ставки с известием о назначении А. Н. Хвостова. При встрече в тот же день в Совете министров он молча поздоровался со мной и развел руками. Я не стал его расспрашивать. Лодыженский же, управляющий делами Совета, по-видимому метивший на мое место, передавал мне со слов Горемыкина, что тот встретил у государя неожиданно резкий отпор.

На 1 января 1916 года я был пожалован в статс-секретари его величества, как я имел основание думать, по настоянию Горемыкина.

Явившись однажды к государю с всеподданнейшим докладом, я застал его читающим книгу. Заметив невольно брошенный на нее взгляд, государь показал книгу и спросил: «Читали ли вы?»

Это был нашумевший в свое время рассказ полковника Родионова «Наше преступление». Я ответил, что не только читал, но и знал местность, к которой относится действие рассказа. Родионов описывал в своей книге быт южной части Боровичского уезда, прилегающей к уезду Валдайскому, где я начал в 1889 году службу в должности судебного следователя. «Неужели правда то, что здесь написано? Мне не хотелось бы верить». На мой ответ, что в книге, как водится, сгущены краски, но описанные в ней проявления деревенского хулиганства представлялись для данной местности явлением обыденным уже и в мое время, а за последующее, с общим ростом распущенности, случаи, вероятно, участились, государь выразил недоверие: «Нет, я все-таки этому не поверю. Человек, который это написал, просто не любит народа».

Моя встреча с императрицей Александрой Федоровной

В двадцатых числах ноября 1916 года, около двенадцати часов ночи, ко мне позвонил по телефону инженер П. И. Балинский, прося принять по срочному делу. Балинского я знал по прежней службе в Министерстве внутренних дел, когда он проводил проект устройства в Петербурге метрополитена, знал за человека очень умного и талантливого, но уже лет десять–пятнадцать совершенно потерял из виду и лишь изредка встречал на улице. Хотелось спать, и я пытался отделаться от посетителя и перенести его на утро, но Балинский настаивал, что дело близко касается моих интересов и не терпит отлагательства. Я уступил, и он приехал ко мне в первом часу ночи.

Балинский объяснил, что прислан с доверительным поручением статс-дамой Е. А. Нарышкиной по поводу совершенно необыкновенному. Она получила, якобы из Ставки, где в те дни находилась императрица, телеграмму с поручением устроить свидание мое с Распутиным, дабы сообщить его впечатления. По словам Балинского, в Ставке были суждения о переменах в составе правительства, в связи с чем и состоит поручение. Он, видимо, полагал, что это сообщение должно быть мне очень приятно.

Я ответил, что, будучи верным слугой государя, готов нести всякие обязанности, какие его величеству угодно будет на меня возложить, но лично ничего не ищу и ничего не сделаю для того, чтобы получить то или иное назначение, сколь бы оно почетно ни было. Если государь прикажет мне принять Распутина, то я его приму гласно и открыто, как и всякого другого; подвергаться же его обозрению в предлагаемых условиях не согласен, и самую мысль проходить через подобные испытания считаю для себя обидною.

Балинский сказал, что Е. А. [Нарышкина], предвидя подобный ответ, поручила ему осведомиться, не соглашусь ли я на то, чтобы где-либо в частном доме, «например, у меня, – сказал он, – Распутин мог бы, хотя издали, вас увидеть, пройдя лишь через комнату, в которой вы будете находиться, дабы он имел возможность удостоверить, что вас видел и знает». Разумеется, я и от этого отказался, с чем Балинский и уехал. Весь его рассказ оставил впечатление чего-то недоговоренного.

Спустя несколько дней, вернувшись домой к завтраку, я узнал, что в мое отсутствие дважды заезжал митрополит Питирим

и просил дать ему знать по телефону, как только я вернусь домой. Митрополита я видел лишь раз примерно за год перед тем, когда он приезжал ко мне в Мариинский дворец, место моей службы, справляться о деловых и нравственных качествах служившего в Государственной канцелярии князя Жевахова, впоследствии обер-прокурора Святейшего синода, и произвел впечатление очень умного человека, резко выделявшегося из общего уровня наших иерархов; тогда, между прочим, в разговоре он спросил меня, не согласился ли бы я занять должность обер-прокурора Синода, на что я ответил, конечно, отрицательно, обратив весь разговор в шутку; через день я отдал митрополиту визит и провел у него минут десять с Э. Б. Войновским-Кригером[50], которого там застал. Этим отношения наши и ограничились. Я позвонил к митрополиту, и тот сообщил, что приезжал по высочайшему повелению переговорить «о деле государственной важности», как сказал он; просил его принять.

Мне не хотелось, чтобы его карету лишний раз видели у моего подъезда, а потому сам отправился к нему в Лавру.

Митрополит сказал, что государь поручил ему переговорить со мною доверительно о следующем. Его величество озабочен приисканием подходящего лица на должность председателя Совета министров, которую он находит необходимым, по обстоятельствам военного времени, соединить непременно с должностью министра внутренних дел. Он имеет в виду несколько кандидатов, но прежде, чем решить, к кому обратиться, желает заранее знать отношение их к некоторым вопросам, чтобы избежать затем неприятных разговоров, так сильно, по словам митрополита, надоевших его величеству. «Этими вопросами являются, – продолжал владыка, – отношение к Протопопову – раз и к известному лицу – два». – «То есть к Распутину?» – спросил я. «Да, к Григорию Ефимовичу».

Вопросы, как и весь разговор, были для меня неожиданностью, тем более что личное недоверие государя было мне хорошо известно, и государь всего лишь год назад отклонил вторичную просьбу Горемыкина о назначении меня министром внутренних дел. Может быть, поэтому именно я запомнил точно свой ответ. Я ответил, что вполне доволен своим теперешним положением и ничего не ищу, а потому скажу свое мнение откровенно. Протопопова я считаю человеком совершенно ничтожным, лишенным к тому же всякой подготовки и знаний и не способным быть не только министром, но и делопроизводителем в любом министерстве. Он не более как пустое место, ничего не делает и делать не может, все сбросил на руки товарищей, и сам занимается одной болтовней. Практически

он совершенно безвреден, но агитация, поднятая против него бывшими думскими друзьями, основанная, без сомнения, на том, что он принял назначение, не спросив их, и повернул направо, а может быть, и на том, что они боятся Протопопова, как человека знающего много лишнего, делает пребывание его в среде правительства совершенно нежелательным.

Митрополит пояснил на это, что его величество сам сознает непригодность Протопопова как министра, но не считает возможным теперь же его уволить, вся поднятая против него травля исходит, по убеждению государя, от тех самых лиц, которые, как Родзянко, только что перед тем советовали назначить Протопопова министром торговли и всячески его хвалили и которые все оказались против, как только государь по своему почину дал ему другое назначение. «Стоило мне его назначить, – сказал, по словам Питирима, государь, – как тотчас Протопопов оказался сумасшедшим». Поэтому его величество хотел бы несколько отсрочить выход Протопопова из состава правительства. Но так как он находит необходимым соединить должности председателя Совета с министром внутренних дел в одном лице, то предполагает поместить Протопопова на должность министра иностранных дел.

Я ответил, что назначение Протопопова министром иностранных представлялось бы уж совершенно невозможным, как потому, что придаст новую пищу толкам о намерении правительства заключить сепаратный мир, так и потому, что в роли министра иностранных дел Протопопов способен причинить своей невоздержанной болтовней величайшие осложнения. Поэтому, раз его величеству угодно отсрочить увольнение Протопопова, то я предпочел бы сохранить его еще некоторое время министром внутренних дел с тем, чтобы мне было предоставлено право избрать ему товарищей министра по своему усмотрению; этим путем я мог держать министерство в руках до времени, когда удастся убрать Протопопова окончательно; мне при этом пришло в голову имя М. Э. Ячевского, псковского губернатора, который, будучи назначен товарищем министра, ведающим полицией, превосходно справился бы с этой, первенствующей задачей ведомства, да, кстати, как человек очень ловкий, нашел бы способ выжить поскорее Протопопова.

Что же касается «известного лица», сказал я, то я смотрю на дело так. Государь волен совещаться с кем ему угодно и о чем ему угодно, в том числе и с Распутиным, и никто не вправе в их отношения вмешиваться. Если, однако, лицо, с которым государь частным образом совещается, станет выносить секрет этих отношений на улицу, а тем более похваляться своим положением,

лезть к министрам и расточать обещания, то при этих условиях служить на ответственном месте я не счел бы возможным. Вообще же, если бы государю, к величайшему моему смущению, угодно было возложить на меня те обязанности, о которых идет речь, то я очень просил бы его величество облегчить мне на первых порах их выполнение, согласившись на временный отъезд Распутина из столицы, а главное, разрешив обезвредить тот круг проходимцев, которые эксплуатируют «старца» в своих видах, путем административной их высылки на время войны в места более или менее отдаленные.

Вместе с тем, идя навстречу пожеланиям государя в этих двух вопросах, как затрагивающих его личные чувства, я должен был бы заранее просить соизволения его величества на некоторые меры, необходимые для осуществления государственного и общественного порядка в переживаемое тяжелое время.

Я просил бы, прежде всего, изменить, хотя бы на время войны, существующий порядок всеподданнейших докладов в том отношении, чтобы, за исключением министров императорского двора, военного и морского, один лишь председатель Совета имел бы у его величества личный доклад; всеподданнейшие же доклады всех остальных министров производились бы ими совместно в заседаниях Совета министров под личным его величества председательством, и лишь в крайних случаях единолично, но в присутствии председателя Совета. Во-вторых, чтобы Петербург изъят был из подведомственности военным властям и подчинен был на общих основаниях гражданской власти с предоставлением председателю Совета министров в вопросе о расквартировании резервных войск, скорейшее сокращение численности коих вообще, и в Петербурге и его окрестностях в частности, я считал бы первейшим условием порядка; далее, чтобы наиболее надежные части гвардии были немедленно возвращены в Петербург или поставлены поблизости к нему, и, наконец, чтобы немедленно же были образованы специальные полицейские батальоны из отборных второсрочных солдат, предназначенные для поддержания порядка и свободные от посылки на фронт, – одним словом, это были меры, необходимость коих сознавалась всеми и которые как бы висели в воздухе.

Митрополит все это тут же записал на бумажке, и мы на этом расстались. Он обещал постараться устроить так, чтобы в случае, если его величеству угодно было ко мне обратиться, Распутин уехал бы на более-менее продолжительное время из Петербурга и вообще сидел бы смирно.

На мой вопрос, кто такие другие кандидаты, имеющиеся в

виду его величества, он сказал, что знает только одного, а именно графа А. А. Бобринского, который очень домогается назначения и, как выразился митрополит, «в ногах валяется» – у кого, не сказал.

Ответ его величества митрополит обещал дать через несколько дней.

Вечером в тот же день ко мне явился директор одной из петербургских гимназий, фамилию которого я, по настоятельной его просьбе, обещал не называть, и сказал, что Гр[игорий] Распутин поручил ему осведомиться, не соглашусь ли я встретиться ним, чтобы поговорить по делу. Директор так был полон своей миссией, что, по-видимому, не допускал мысли о возможности отказа. Я, разумеется, отказался и в довольно резкой форме выпроводил просителя. (Не без удивления я прочел впоследствии в показаниях Манасевича-Мануйлова[51], данных Чрезвычайной следственной комиссии[52] под титулом «интриги Крыжановского», фантастический рассказ о том, будто бы я имел свидание с Распутиным в поезде Николаевской дороги по пути в Москву; это относилось, впрочем, к другому времени. Распутина я в действительности никогда не видел, как никогда не видел Манасевича-Мануйлова, состоявшего, если не ошибаюсь, агентом Департамента полиции.)

Спустя несколько дней, кажется, три или четыре, митрополит уведомил меня, что государь изволил изъявить согласие на изложенные выше предположения, касавшиеся Протопопова, равно как на изменение порядка всеподданнейших докладов, каковое он признал вполне целесообразным, за исключением, впрочем, докладов министра иностранных дел, в отношении коих государю угодно было сохранить существующий порядок.

Что касается остальных предположений, то его величество не счел возможным допустить какое-либо вмешательство гражданской власти в расквартирование резервных войск, опасаясь трений, которые отсюда могут возникнуть, и не согласен перевести части гвардии в Петербург, чтобы не обидеть армии поставлением их в льготное положение; по тем же причинам он не согласен на укомплектование воинскими чинами особых батальонов столичной полиции с освобождением их от службы на фронте. Митрополит пояснил, что, по его мнению, государь не пойдет в этих вопросах ни на какие уступки.

Мне осталось лишь просить митрополита доложить его величеству, что при таких условиях я не считал бы себя вправе согласиться по доброй воле на назначение, которое, возлагая на меня ответственность за поддержание порядка, в то же время не облекало меня необходимыми для сего средствами и полномочиями.

Питирим выразил сожаление обороту, который принимает дело, но вместе с тем и уверенность, что все в конце концов образуется. При этом он сказал, что если бы мое назначение все же состоялось, он взял с Распутина клятву на кресте и Евангелии, что он немедленно уедет домой или на богомолье, никогда не будет искать встречи со мной и беспокоить министров своими просьбами; взамен этого Распутин просил обеспечить ему личную безопасность и оградить от покушений.

Прощаясь, я невольно спросил митрополита, чем я должен объяснять его видимое расположение ко мне, человеку ему совершенно не знакомому, проявившееся в заботе устранить с пути такой камень преткновения, каким является Распутин. Питирим ответил, что имеет по отношению ко мне личные виды, ради которых и старается. Он надеется при моем содействии осуществить свою заветную мечту – добиться утверждения в законодательном порядке положения о православном приходе, воссоздание которого считает первым условием оздоровления и церковной, и общественной жизни. Надежда эта возникла у него после того, как он узнал, что еще при Столыпине был мной составлен проект приходского управления, экземпляр которого он получил от В. К. Саблера[53] и который вполне соответствует его пожеланиям. Он прибавил, что хорошо знал моего покойного отца, с которым познакомился в старые годы, когда тот, по поручению К. П. Победоносцева, ездил в Лифляндию исследовать положение православных эстонских приходов (Питирим оказался сыном священника откуда-то из-под Риги и там священствовал сам).

Эти его слова давали основание думать, не являлась ли моя столь неожиданная кандидатура результатом подсказки с его стороны, и действительно ли был он уполномочен государем на переговоры в такой определенной форме, как он это утверждал. Я высказал эти сомнения, но Питирим заверял, что говорит по прямому уполномочию его величества. Сам, однако, государь, у которого я был с докладом, правда, уже в конце декабря, ни одним намеком не дал оснований предполагать, чтобы он поручил вести подобные переговоры. Это был мой последний всеподданнейший доклад; было это вскоре после убийства Распутина. Приехав во дворец в Царском Селе, я думал найти там следы передряги, но, к удивлению, ничего заметно не было. Дежурный флигель-адъютант сказал, что все эти дни государь был непроницаемо спокоен, как будто ничего не случилось. Таким я его и нашел, как всегда любезным и приветливым, с меньшей, хотя это, может быть, мне и показалось, стеклянной заслоненностью взгляда и улыбки, обычно ему присущей.

Спустя несколько дней князь Н. Д. Жевахов сообщил мне по телефону, что государыня, при свидании с ним накануне, выразила желание меня видеть, чтобы поговорить по делу, ее интересующему, но вызвать стесняется, а хочет, чтобы я попросил ее о приеме, позвонив лично по телефону. Опасаясь, не князь ли Жевахов по каким-либо личным соображениям старается подстроить это свидание, доложив императрице, что я ищу случай ей представиться, я ответил, что не решаюсь беспокоить ее величество, а потому, если ей угодно меня видеть, буду ждать вызова. На следующий день князь Жевахов принес мне письмо к нему А. А. Вырубовой, которая спрашивала, почему от меня не было телефона, что государыня накануне ждала и огорчена, усматривая в этом признак нежелания иметь с ней дело. Положение получалось весьма неловкое. Я позвонил к секретарю императрицы графу Я. Н. Ростовцеву, рассказал ему, в чем дело, и просил совета, как поступить. Яков Николаевич ответил, что сообщение Вырубовой должно быть понимаемо как требование императрицы и что без всяких колебаний я должен позвонить ей по телефону. Я так и сделал. У телефона оказалась великая княжна Ольга Николаевна, которая подтвердила, что государыня меня ждет и, переговорив с нею, сообщила, что она примет меня в тот же день в пять часов. Кажется, это было 7 декабря.

В назначенный час я явился в Царское Село, во дворец, и был принят императрицей в ее маленькой гостиной. Императрицу Александру Федоровну мне приходилось раньше видеть как на официальных представлениях, так и в заседаниях Комитета помощи раненым в Японскую войну, в котором мне приходилось иногда заменять министра внутренних дел, а в последнее время – в заседаниях Верховного совета по призрению пострадавших в войне с Германией и Австрией, в котором я был членом и председателем одной из комиссий. Во всех этих случаях императрица являлась нам в виде замкнутой, хмурой и молчаливой женщины, изредка произносившей полушепотом несколько малоразборчивых слов. Ее скорбный вид, сжатые, тонкие губы и малая приветливость создавали впечатление не то брезгливой презрительности, не то какого-то недоброжелательства. Общее отношение к ней было отчужденное, и к рассказам приближенных о том, что Александра Федоровна – женщина с чутким и горячим сердцем, отзывчивая и благожелательная, все относились с недоверием. С таким же недоверием переступал и я порог ее гостиной, невольно поглядывая кругом, не сидит ли где-нибудь в углу, как то утверждала молва, знаменитый «старец».

Тем большим было мое удивление. Я увидел перед собой

совершенно другую женщину – простую, приветливую и доброжелательную. Не было и следа тех неприятных впечатлений, которые сопутствовали ей раньше. После нескольких мгновений неловкого молчания (я не начинал разговора, выжидая, что она скажет), государыня сказала, что собирается просить меня помочь ей в деле, в котором, как она слышала, я мог бы быть ей полезен. Дело в том, что она хотела бы создать из подведомственных ей различных комитетов и учреждений, ведающих делами призрения – Верховного совета, Попечительства о домах трудолюбия, Общества материнства и младенчества и т. п. – особое ведомство наподобие Ведомства учреждений императрицы Марии[54], так, чтобы в нем было сосредоточено управление всею благотворительною помощью и всем делом общественного призрения в империи, во всех его видах. «Чтобы это было как министерство под моим управлением», – сказала государыня. Она выражала надежду, что я составлю ей соответствующий проект.

Я ответил, что нахожусь, конечно, всецело в ее распоряжении и что составить проект дело не трудное, но весь вопрос в том, как провести его в жизнь. «То есть как? – удивилась государыня. – Его величество утвердит, и все будет сделано».

Пришлось, не без некоторого смущения, объяснить государыне, что дело не так просто. Учреждения императрицы Марии представляют собой лишь совокупность отдельных воспитательных и благотворительных заведений, управление коими объединено в подобие особого ведомства, с предоставлением ему некоторых привилегий и особых финансовых источников; ведомство это не получает прямых кредитов из казны и является чем-то вроде автономной корпорации, но этим и объясняется его обособленное положение в кругу целых установлений, отнюдь не органом государственного управления. Между тем, для осуществления мысли императрицы о подчинении ей всего общественного призрения, которое частью возложено, в качестве обязательной повинности, на сословные общества, частью же предоставлено попечению общественных учреждений, распределяется, в порядке подведомственности, между разными ведомствами и регулируется, хотя и очень несовершенными, но весьма многочисленными законами, придется все эти законы изменять, возбуждая множество сложных и спорных вопросов и создавая учреждение, резко уклоняющееся от общего типа государственных установлений; кроме того, требуется и отпуск на это дело из казны ежегодных довольно значительных кредитов. При таких же условиях проведение дела в законодательном

порядке через Государственную думу и [Государственный] совет представляется неизбежным и в то же время почти безнадежным.

Государыня заволновалась. «Неужели вы думаете, – сказала она, – что этого нельзя сделать только потому, что я хочу стать во главе учреждения?» Я стал объяснять, что не в лице причина, а в системе, что нельзя ожидать согласия не только законодательных учреждений, но даже и правительства, если ему предоставлено будет высказаться, на выделение целой отрасли государственного управления в управление как бы частное, каким неизбежно явится ее ведомство, и на освобождение его от контроля правительства, что также неизбежно вытекало бы из факта неприкосновенности и безответственности лица, коему учреждение подчинено. И именем которого будут прикрываться все действия подчиненных исполнителей, проверять кои лично она не будет иметь между тем возможности.

Разгорелся спор, убедивший меня, что Александра Федоровна, при всех ее прекрасных порывах, была совершенно чужда элементарных представлений о государственном порядке, быть может, потому, что никто и не пытался объяснить ей значение государственной механики и смысл управляющих ею начал. Вместе с тем, однако, я вынес и другое впечатление, что сама по себе природа государыни, при всей страстности ее отношения к делу и порывистости характера, представляла благодарную почву для убеждения, если вести его систематически, в спокойном тоне и с принятием на вид ее совершенного незнакомства со всеми этими вопросами, требующими известной элементарности в ходе рассуждения. По крайней мере, может быть, это и была простая случайность, но после спора, продолжавшегося не менее часа, мне удалось убедить ее отказаться от задуманного преобразования, ограничившись пока развитием тех учреждений, которые состояли уже в ее ведении. Разговор этот она не раз прерывала словами: «Это удивительно. Мне никто раньше так не объяснял».

Между прочим, государыня спросила: «И зачем Дума, неужели нельзя было править без нее?» И вот мне пришлось выступать в роли, которая очень удивила бы кадетов – защитника Думы. Я сказал, что Думу надо твердо отличать от думцев и от их возмутительного поведения, и объяснил ту обстановку, в которой возникла мысль о созыве Думы и основания к этому шагу. Сущность этих объяснений, приспособленных к слушателю, сводилась к тому, что с ростом и развитием образованных классов, без которых современное государство технически существовать не может, рождается у них потребность принять участие в управлении. Потребность эта столь же неистребима, как

стремление есть и пить, и как бы к ней ни относиться, но считаться с ней приходится. Неудовлетворение потребности влечет за собой попытки насильственного вмешательства в государственную жизнь в форме революционной агитации и политических преступлений. Пока явления эти были слабы и захватывали ограниченные слои общества, с ними боролись обыкновенными средствами ограждения государственного порядка. Когда движение расширилось, пришлось прибегнуть к созданию исключительных положений и к массовой изоляции неспокойных элементов путем административной высылки в места, где, предполагалось, их деятельность не будет иметь почвы под ногами. Но наступило время, когда и эти меры оказались недостаточными. Административная высылка распространялась все шире и шла вглубь, захватывая низшие слои населения. Число высланных увеличивалось настолько, что в местах своего пребывания они становились угрозой порядку и источником политической заразы. Способы борьбы оказывались недостаточными. Необходимо было поэтому или перейти к более решительным [мерам], то есть к системе правительственного террора, убивающего культурную и хозяйственную жизнь, или попытаться, удовлетворив политические домогательства образованной части общества, разъединить либеральное течение от социалистическо-революционного и привлечь первое на сторону престола. Это последнее соображение взяло верх и имело следствием создание Государственной думы. В постановке ее допущено, конечно, много ошибок, дано на первых же порах чересчур большое влияние крестьянскому элементу, чего нигде на свете не было и что внесло стихийное начало в отношения Думы к правительству.

Неправильна в таком громадном и разнородном государстве, как наше, и централизация народного представительства, которая имела следствием склонность к разрешению всех вопросов с чисто теоретической точки зрения, облегчала возможность объединения против правительства всех оппозиционных элементов. Но все же в конце концов одна из целей была достигнута – общественные страсти были до известной степени канализированы в Думе, как в сточной трубе. Кроме того, Дума, и в этом ее главное значение, явилась весьма удобным инструментом для воздействия на настроение страны, которую через ее посредство легче утвердить в убеждении о необходимости принимаемых мер, чем прямыми приказами власти. Но, разумеется, на этом инструменте надо было уметь играть, а этого умения не оказалось, так как Дума после Столыпина была брошена на произвол судьбы и все связи с ней

были утеряны.

Но, как бы то ни было, прибавил я, теперь, во время войны, приходится с особой осторожностью относиться к всякой силе, могущей затруднить положение правительства. И так как власть не может висеть в воздухе, то необходимо постараться установить с Думой возможно лучшие отношения, раз власть не считает себя достаточно сильной, чтобы, по примеру Австрии, с самого начала обойтись совсем без Думы, взяв на время войны самых опасных главарей под замок, что было бы, пожалуй, самое лучшее. Создавшееся же положение самое невыгодное, так как ведет только к усилению взаимного раздражения и ослабит власть в общественном сознании.

Государыня слушала очень внимательно и тоже заметила, что этого ей раньше не разъясняли в таком виде, но мне показалось, что эта часть нашей беседы имела менее успеха, чем предшествующая, и она перевела разговор опять на благотворительные темы.

Разговор перешел на призрение пострадавших в войне с Германией, и государыня стала с жаром говорить о своей мысли, которую она старалась проводить в Верховном совете, о необходимости поставить дело так, чтобы все раненые и увечные были возвращены к трудовой жизни, приспособленной к их новым физическим условиям, с доведением их производительности до возможного максимума, и с тем, чтобы те, которым трудоспособности вернуть нельзя, были помещены на дожитие в прекрасно поставленных приютах (проекты таких приютов, не помню, кем составленные, и одобренные государыней, предполагали для их постройки, не считая содержания, затрату в размере более 3 тысяч рублей на каждого призреваемого).

Она спросила мое мнение. Мне пришлось и в этом случае возразить против столь широкой постановки дела. «Мы слишком бедны, – сказал я, – для такой роскоши, ибо на нее никаких денег не хватит, а их у нас очень мало и без того, тем более после войны придется нести чудовищные расходы на возобновление разрушенного хозяйственного оборудования страны. Как ни желательно сделать все возможное для облегчения участи пострадавших от войны, но не следует увлекаться мечтами, которые нельзя осуществить. Положение раненых и увечных надо, разумеется, скрасить, как только можно, но в общем их приходится рассматривать как людей, попавших под колесо истории, и скинуть со счета; силы же и средства направить на другую, более важную для государства и более осуществимую задачу, а именно на призрение сирот, которые останутся после убитых, и на воспитание из них здоровых и надежных пахарей и

солдат, в замену погибших».

Государыня опять заволновалась: «Что вы говорите, как денег нет? А контрибуция, которую мы получим! Государь дал мне слово, что вся она пойдет на то, чтобы облегчить положение пострадавших от войны, и я не позволю хоть одну копейку из нее обратить на что-либо другое!» Разговор носил такой откровенный характер, что я не выдержал и спросил: «Неужели вы верите, государыня, что контрибуция будет?» Она вспыхнула и вскочила со стула: «Не смейте и сомневаться, мы победим, я верю, что мы победим, а раз будет победа, то будет и контрибуция!» В ее голосе было столько искренности, что сомневаться в правде ее чувства не было бы никакой возможности. Это была русская царица, а не немка или англичанка.

Пробило восемь часов. Я поспешил откланяться и унес с собой чувство глубокого уважения к этой женщине, одаренной несомненно высокой душой, но такой неопытной, легкой добыче для всякого, кто сумеет завладеть ее доверием. Более я ее не видел. 17 декабря убит был Распутин, Александра Федоровна замкнулась дома и перестала где-либо появляться.

Сипягин

Дмитрий Сергеевич Сипягин был человек цельный и крупный. Это был прямой потомок той московской знати, полурусской, полутатарской, крепкий телом и духом и твердый в вере и преданности царю, которая строила Русское государство. Это бы, как кто-то удачно сказал, последний боярин старой Московской Руси.

Большого роста, грузного сложения, с крупными чертами лица, большим носом и оттопыренными ушами, он являл все признаки благообразного татарского типа. В мурмолке и халате он выглядел бы подлинным мурзою или ханом, но душа у него была русская.

Глубокая, хотя, может быть, и формальная религиозность и нелицеприятная преданность царю пронизали все его существо в те годы, когда мне пришлось его знать.

Мало кто так твердо, как он, знал церковный устав, так чинно стоял в храме, так истово молился и клал поклоны, так чтил по-старинному свои святыни. Дом его был полон икон, и на груди под рубахой на толстом шелковом гайтане[55] носил он целый пук талисманов: тут были крестики, образки, какие-то кольца, вероятно родительские венчальные, мешочки[56], ладанки и многое множество других освященных предметов.

Он свято почитал всякий старинный образ, твердо держал посты, и на столе его можно было видеть и вяленую сырть[57], и шемаю[58], и ржевскую пастилу, соленья, и моченья, и всякую иную старинную снедь. И ел он по-старинному, в огромном, мало кому доступном количестве.

Став министром внутренних дел, Сипягин принес в центральное управление тот стиль власти, который более или менее свойственен был всем министрам из губернаторов и местных деятелей. Он хотел все знать, за всем следить, все видеть, самому все разобрать, войти во все мелочи местной жизни – одним словом, быть губернатором всероссийским. Задача была неосуществима, но Сипягин настойчиво стремился к своей цели, изводя и себя, и своих подчиненных.

Каждый губернатор или иной старший чин, ему представлявшийся по поводу приезда в Петербург, обязан был заранее доставить директору канцелярии список дел и вопросов, о которых он собирался докладывать министру, и по всем этим предметам в департаментах составлялись справки, которые Сипягин тщательно изучал перед аудиенцией. И так как приезжие, желая проявить свое рвение к службе, вносили в списки

как можно больше пунктов, то труд по составлению справок, всегда притом крайне срочных, ложился тяжелым бременем на департаменты, приостанавливавшие в разгар губернаторского сезона всякую иную деятельность. Помимо сего, директора и вице-директора должны были все время заботиться об «осведомленности», то есть знать и помнить о всех мелких переписках, поступивших с мест, чтобы быть готовыми во всякое время подать справку на письме или по телефону. «Неосведомленности» Сипягин очень не одобрял.

Проводя последовательно эту точку зрения, Сипягин решил обозреть всю Россию в натуре, дабы обо всем иметь непосредственное впечатление. Для этой цели Россия была подразделена на двенадцать очередей, которые Сипягин предполагал объехать в течение двенадцати лет, по одной ежегодно. В первой и единственной из этих поездок пришлось принять участие и мне. Она охватила губернии фабричного Поволжья: Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую и Владимирскую. Предполагалось обозреть их во всех отношениях, но главной целью было ознакомление с положением фабрик и рабочих в связи с выдвигавшейся тогда мыслью о передаче фабричной инспекции в ведение Министерства внутренних дел.

Надо заметить, что время, когда Сипягин был министром внутренних дел, было временем обостренной борьбы за власть. Необходимость объединения деятельности министерств в одно целое с особой силой сказывалась в условиях нашей жизни, и все крупнейшие министры: Витте, Сипягин, Плеве – стремились, каждый на свой лад, занять первое место и подчинить себе другие ведомства путем постепенного отвоевывания от них отдельных частей. У Сипягина, в силу его природы, это стремление, как и все другие, выражалось в несколько архаических формах. Идеалом его был век царя Алексея Михайловича и главной мечтой – стать «ближним боярином» при царе, посредником между страною и монархом, ближайшим его советником и носителем дум и ближайшим же их исполнителем. Идею эту Сипягин лелеял издавна и до конца от нее не отказался. Вся его деятельность была проникнута ею, и эта же мысль неуклонно преподносилась ему во время поездки.

Три месяца готовили мы: Г. Г. Савич, А. Д. Арбузов и я – справки по всем предметам, могущим остановить внимание министра при объезде губерний, и повезли с собой чемоданы всяких материалов.

Первой губернией на пути была Ярославская, где сидел губернатором Б. В. Штюрмер, большой ловкач по обстановочной части и мастер пускать пыль в глаза, в то время еще свежий и

энергичный человек, крепко державший губернию в руках.

Зная хорошо Сипягина и его слабости, Штюрмер, с самого прибытия нашего на станцию Мологу, окунул его в гущу местной жизни и ее дрязг. Все подвергалось обозрению и изучению, и всюду шли доклады и заранее срепетированные и обставленные совещания и, по преимуществу, на тему всего более волновавшую Сипягина – кто-то и где-то кому-то «сопротивлялся»: тут городское управление, уклоняющееся от оплаты арестного при полиции помещения, там земство, не исполняющее требования о починке дороги, здесь столкновение уездных чинов или учреждений между собой.

Все это прослаивалось посещением храмов и исторических зданий, обозрением археологических достопримечательностей – все большие слабости Сипягина.

Положение его как посланца государя и «ближнего боярина» особенно при этом подчеркивалось, и, надо сказать, с большим умением.

Казалось, все население губернии стремилось видеть министра, и все ликовало. Мы плыли на пароходе вдоль берегов, усеянных народом, проезжали длинной вереницей экипажей по деревням, расцвеченным флагами, входили в храмы и фабрики и выходили из них при радостных криках толпы.

В Ростове, в торжественном заседании местной Археологической комиссии, устроенной в честь Сипягина, профессор Демидовского юридического лицея И. Я. Гурлянд, состоявший одновременно и секретарем губернского по земским и городским делам присутствия («мыслительный аппарат Б. В. Штюрмера», как говаривал о нем впоследствии В. К. Плеве), провел обширный доклад на тему «Приказ тайных дел царя Алексея Михайловича», в котором подчеркнута была с большим искусством идея «ближнего боярства» и проведены тонкие параллели, сближавшие ее с современностью. Это был елей на душу Сипягина. Он был в полном восторге. «Гурлянд – какая сила!» – восклицал он потом, перебирая в Петербурге воспоминания о поездке.

Вначале сам Сипягин несколько подозрительно оглядывался кругом, опасаясь стать жертвой мистификации, и, собрав по прибытии в Ярославле своих спутников, просил предупредить его при малейшем признаке фальши. Но уже спустя несколько дней обаяние обстановки так его захватило, что когда один из спутников попытался высказать сомнения, то они были встречены столь неблагосклонно, что попытки более не повторялись. Б. В. Штюрмер со своей стороны принял меры, чтобы истина не могла проникнуть в свиту министра, и все мы были поставлены под

надзор его чиновников особых поручений, всюду за нами следовавших и не отстававших ни на шаг. Отделываться от них было очень трудно.

Под конец пребывания в Ярославской губернии Сипягин посетил Ростов Великий, слушал на монастырском дворе знаменитый ростовский малиновый звон – для чего ложился даже на спину посреди двора, как того требовал древний обычай от знатоков, желавших возможно лучше воспринять этот звук.

Вечером был обед в тереме ростовских князей, составленный по старинной, княжеских времен, программе. Ели «взвар» и пирожки с гречневой кашей, рассолы, «верченых» кур и т. п. На другой день поехали в село Великое, знаменитое своими огородами и зеленым горошком. Поездка напоминала в уменьшенном виде путешествие Екатерины Великой по Новороссии. Мы плыли по какой-то речушке в ладьях, устланных коврами, слушая пояснения местных археологов – Титова и еще какого-то, фамилии не помню, повествовавших о далекой ростовской старине. И вот на повороте речки, за стеной камышей, открывается живописная лужайка – на ней снова группа пастухов, играющая что-то на рожках и т. п. Село Великое расцвечено флагами и ликует. Сошедшего с лодки Сипягина окружают с поклонами старики. «А как батюшка наш, государь, его величество? А государыня матушка, здоровье как?» Сипягин все это принимал за чистую монету, вразумительно со стариками беседовал и таял от удовольствия.

Осмотрев консервные заводы, огороды и сады, действительно замечательные, Сипягин сел со свитой в ладьи, провожаемый громким «ура» столпившегося на берегу народа. Крики повторялись очень правильно и дружно, и, обернувшись, мы, свита, легко распознали причину. На берегу из-за толпы показался у воды на бревне урядник. Он взмахнул рукой и тотчас же скрылся, видимо, присел. Грянуло «ура». Немного погодя урядник снова показался на бревнах, снова взмахнул рукой, и снова раздались ликующие крики, и еще, и еще. И долго, пока ладьи не скрылись за поворотом реки, видна была рука урядника и слышалось «ура». Но Сипягин был в упоении и ничего не заметил.

Судьба не пощадила, однако, Сипягина, и в конце концов истина открылась ему в своей неприглядной наготе. Правда, это было не в Ярославской, а во Владимирской губернии, где губернатор Цеймерн, русский немец, в астраханской казачьей форме, с виду Тарас Бульба, по прозванию Мазепа, оказался не столь распорядителен, как Штюрмер.

Мы ехали длинным поездом экипажей и тарантасов из

Владимира в Суздаль, тщательно объезжая попадавшиеся на пути земские мосты, и вступили в какое-то большое село. На площади ожидала, по обычаю, толпа народа, разодетого по-праздничному, старики впереди с хлебом и солью. Сипягин вышел из коляски, и начались обычные расспросы: «Сколько душ в волости? Каковы хлеба? Есть ли подсобные промыслы?» и т. п. Когда темы были исчерпаны, один из стариков бросился к Сипягину: «Так значит, теперь, батюшка, ваше превосходительство, разрешите нам и по домам разойтись?» – «Да… конечно. Но почему [нужно об этом] спрашивать? Что такое?» – «А так, что хлеб на полях обсыпается (дело было во второй половине июля), а нас тут вот третий день, как собрали и держат твою милость встречать. Да на хлеб-соль полотенце, да на блюдо велено по целковому с души сложить». Тут вмешались бабы: «А нам, батюшка, ваше превосходительство, не знаем, как еще тебя величать, сарафаны новые пошить приказали, совсем разорение».

С Сипягиным чуть удар не случился. Все очарование поездки было разрушено. Он тотчас распорядился уволить виновного в неуместном усердии земского начальника Рагозина и уплатить крестьянам 300 рублей за убытки, сарафаны, хлеб да соль. Мрачный ходил он весь день и, сократив программу поездки, поспешил в Москву.

Вообще же поездка не могла не оставить тяжелых впечатлений в душе Сипягина. Противоречие между растущим богатством промышленных классов и обнищанием поместного дворянства в связи с изменением облика крестьянской жизни в фабричном районе и явной враждебностью рабочего класса, сильно тронутого социалистической пропагандой, особенно больно действовали на Сипягина, воплощавшего идеологию дворянской, помещичьей России и жившего надеждой воскресить и укрепить старый уклад русского быта.

В Романово-Борисоглебском уезде на пристани его встретил уездный предводитель дворянства – полуглухой, дряхлый старичок, явно не способный ни к какой ответственной роли и с трудом объяснявшийся при помощи слухового рожка. В Ростове Великом уездный предводитель дворянства Энгельгардт – врач по образованию – совмещал обязанности предводителя с вольной акушерской практикой в своем уезде. Остальные впечатления дворянской жизни в уездах, за малыми исключениями, были того же порядка. Всюду чувствовалось дворянское оскудение, и материальное, и личное, не оказывалось ни людей для службы, ни средств у них. Наряду с этим [наблюдалось] растущее богатство фабричной аристократии: прекрасные дома, больницы, приюты, школы, пышные обеды и приемы, явное обилие денег,

заискивающая заносчивость новой знати, начинавшей чувствовать себя первенствующим сословием.

Плохое, а на фабриках старозаветных купцов, например, братьев Моргуновых, отвратительное положение рабочих, хмурые лица, местами косые взгляды придавали неприглядный оттенок многим впечатлениям, хотя, конечно, все это яснее бросалось в глаза нам, свите, шедшей сзади, где официальная улыбка уже сбегала с лица. «Собачья свадьба», – крикнул кто-то из толпы вслед нашему каравану, когда мы проезжали через какой-то рабочий поселок.

Особенное впечатление произвел на Сипягина волостной старшина знаменитого кустарного села Павлова, Нижегородской губернии, встретивший его на пристани во фраке. Сипягин даже отшатнулся, так был поражен этим зрелищем. В том же селе прием местных нотаблей[59] и завтрак происходили в доме того же старшины, которого поэтому волей-неволей пришлось посадить за стол. Сипягин морщился, но все же переломил себя и, выходя из-за стола, благодарил хозяина и даже подал ему руку. Это было с его стороны большой уступкой новым веяниям. Крайне неприятно поразил Сипягина и вид «Вестника Европы»[60], который оказался на столе у старшины.

Единственной светлой точкой на общем фоне грустных впечатлений был дворянский обед во Владимире, во время которого играл помещичий струнный оркестр, вероятно последний в этом роде, принадлежавший какому-то отставному гусару, кажется, Храповицкому, и все было очень нарядно и торжественно. Сипягин был так растроган, что на несколько минут утратил обычную свою сдержанность и сановитость, стал поводить под музыку плечом и пританцовывать. При выходе у крыльца – хмурая и враждебная толпа любопытных, и сразу было видно, что не Штюрмер тут губернаторствует.

К числу комических по неожиданности впечатлений относилась и беседа Сипягина с крестьянами-переводчиками. В Ярославском уезде имелось несколько сел, усвоивших своеобразный отхожий промысел – службу переводчиками в иностранных портах: в Швеции, Норвегии, Англии, а также Финляндии, куда они отправлялись на обучение мальчиками и откуда приезжали от времени до времени на побывку, а когда прикопляли денег и приходили в возраст, то окончательно возвращались домой и садились на хозяйство. Переводчики эти были представлены Сипягину как живое доказательство талантливости русского человека.

Их проэкзаменовали, и они твердо отвечали на разных языках. Большинство обучалось своему ремеслу в Финляндии.

«Ну что, плохо там было, утесняли вас?» – спросил Сипягин. «Никак нет, – последовал ответ, – очень даже хорошо, жили свободно, порядки хороши, много лучше наших».

Месяца четыре по возвращении из поездки Сипягина Г. Г. Савич и я строчили всеподданнейшие отчеты о ней. Получилось несколько обширных фолиантов, в которых изложены были впечатления министра по всем отраслям управления, отмечены в подробности все останавливавшие на себе его внимание вопросы и вытекавшие отсюда его предположения. Создан был целый план законодательных и административных работ, на осуществление которых требовались бы долгие годы. Все это Сипягин тщательно рассматривал и исправлял и затем представил его величеству для прочтения.

Что он докладывал государю на словах в дополнение к официальному отчету и что говорил о вынесенных им впечатлениях, не знаю, но нам, спутникам, при расставании в Москве он определил их словами: «Мы стоим на вулкане». Слова эти показались нам большим преувеличением, но теперь вижу, что он правильнее нас расценивал положение.

Вопреки ходившим рассказам и анекдотам, рисовавшим его лентяем, кутилой, пустым и бездельным, и даже глупым человеком, Сипягин был, по крайней мере за время своего министерства, на редкость усердным и даже внимательным работником. Надо думать, что и раньше он много работал, так как в приемах сказывалась прочная привычка к труду и умение распределять время. Он крайне добросовестно занимался, всюду и во всем стараясь вникнуть в дело и дойти до корня. Труда и здоровья он не жалел. Просиживая до глубокой ночи за письменным столом, он рано утром был уже на ногах, позволяя себе лишний час сна только по воскресеньям. От природы он обладал большим запасом здравого смысла и способностью легко разбираться в обстановке, но образование его было очень поверхностное, и отвлеченная или непривычная мысль давалась ему с трудом. В стараниях понять он хмурился, затылок краснел, к лицу приливала кровь, казалось, он сердится; видно было, что мысли, как тяжелые жернова, вращаются в голове. Но вот кровь сбегала, лицо прояснялось – он понял, и потом уже твердо держал нить мысли.

Сипягин был в университете, кажется, Московском, и, вращаясь в среде любителей русских древностей и истории, таких, как семья графов Шереметевых, усвоил любовь к этим отраслям знания и, по-видимому, довольно близкое знакомство с русской стариной, ее внешностью и символикой. Этим, однако, его образование и ограничивалось, если не считать той

практической, жизненной школы, которую он прошел как помещик, предводитель дворянства и губернатор. Области идей и изящной литературы он был совершенно чужд и под веселую руку признавался, что не прочел ни одной страницы, даже Тургенева. В общем же, это была цельная и искренняя натура, прочно сидевшая на немногих простых, но глубоко укоренившихся понятиях. Шутники утверждали даже, что все его мировоззрение стародворянской складки сводилось к мысли: «Побольше денег дворянину – побольше палок мужику», но думаю, что они были не правы, так как и по убеждению, и по характеру он был человек и справедливый, и благородный.

Сипягин слишком недолго оставался министром внутренних дел для того, чтобы могла выясниться линия политики, которую он усвоил бы окончательно.

Основная идея или, вернее, основной инстинкт его действий была централизация власти, стремление подтянуть к рукам все нити местного управления, не различая существенного от мелочного. Эта тенденция ясно выразилась и в проекте, уже впоследствии при Плеве получившем силу закона, – образования полу-административного земства в западных и восточных губерниях, и в законе о предельности земского обложения, возносившем на рассмотрение центральных ведомств вопросы о нередко мелких местных расходах, и в не получившем движения проекте закона об утверждении министром внутренних дел земских и городских гласных и т. п. Никогда ни до, ни после Сипягина не получала такого широкого распространения практика отмены постановлений земств и городских дум, по нарушению ими интересов местного населения, доходившая до самых смешных проявлений. Отменялись дважды постановления городской думы Ростова Великого о сдаче в аренду покосов, расположенных в черте города, у стен кремля, пространством что-то около десятины, о сдаче в аренду незначительной водяной мельницы и т. п.

То же стремление подтянуть всю власть к своим рукам проявлял он и в области центрального управления.

Как сказано было выше, то было время обостренной борьбы за первенство во власти, которая невольно накладывала свой отпечаток на все действия и программы правительственных лиц. Отсутствие единства в действиях и взглядах правительства вытекало из самой организации высшего управления, которое формально возглавлялось государем, в действительности же, за невозможностью для него вникать во все дела управления, выливалось в «борьбу ведомств», наполнявшую собой целые периоды. Министры подкапывали друг друга у престола,

поносили в обществе, обменивались полемическими трактатами и даже переносили свои распри на страницы периодической печати. В министерствах особенно ценились чиновники, искусившиеся в междуведомственных препирательствах, мастера изготовлять в любезной форме уничижительные послания от одного министра к другому. Многие на этом делали карьеру (не скрою, что я принадлежал к их числу); случалось, что допекаемый министр стремился обезвредить противника, переманив к себе на службу, с повышением, его искусных сотрудников.

Все это, в связи с быстрым развитием государства и усложнением его задач, давно уже выдвигало мысль о преобразовании Комитета министров в смысле его подчинения руководству первого министра. К этому положению всегда стремились более энергичные из них, по преимуществу министры внутренних дел как начальники ведомства, имевшего наиболее широкие и наименее определенные в их границах предметы попечения. Эта цель была заветной мечтой и Сипягина, который издавна подходил к ней, облекая свои стремления в излюбленные им археологические формы. Стать «ближним боярином» он замыслил еще в бытность главноуправляющим Канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых. Став министром внутренних дел, он еще настойчивее повел свою линию, не упуская ничего, чем можно было бы выдвинуть на вид свое положение первенствующего министра. Начал он с квартиры, перестроив на дворцовый лад старинное и неудобное помещение в Шефском доме на Фонтанке и отделав его с невиданной для таких помещений роскошью. Все было густо и довольно аляповато раззолочено, уставлено антикварной мебелью и бронзой, а столовая отделана под старинную палату, с окованными железом дверьми, стрельчатым окном, стенной живописью, изображавшей венчание на царство Михаила Федоровича, и огромной люстрой в виде паникадила, приобретенной за большие деньги у московского старьевщика. Мебель в столовой была крыта торжковской кожей с вышитыми по ней вензелями Сипягина. Все это стоило очень дорого, возбудило много нареканий, а приближенными объяснялось намерением Сипягина делать в этом доме приемы в высочайшем присутствии, что впоследствии и подтвердилось.

Той же цели – выдвинуть свое положение на первый план – служило и учреждение разных высоких совещаний под его председательством. В одном из них и мне пришлось принять участие в качестве делопроизводителя. Предметом было упразднение тотализатора, о чем настойчиво просили Петербургское и Московское городские управления. В составе

совещания было много народа, несколько министров и два великих князя – явление до того, кажется, небывалое.

Совещание ознаменовалось забавным эпизодом, рисовавшим нравы времени. Голосовалось не помню уже какое положение, поддерживаемое Сипягиным. Большинство совещания было с ним против представителей Москвы и Петербурга и еще кого-то. «Принято единогласно», – провозгласил, не обратив на них внимания, Сипягин. «Позвольте, ваше высокопревосходительство, – запротестовали Д. Н. Шипов и его единомышленники, – мы не согласны». Сипягин побагровел. «Я сказал – единогласно. Так и запишите», – обратился он к делопроизводству. Недовольные умолкли и, сколько помнится, отдельного мнения по журналу не заявили.

Смерть застигла Сипягина неожиданно, в то самое время, когда он, казалось, подходил к заветной цели. Это еще не была высшая власть – «ближнее боярство», но было преддверие к ней. Мечта увидеть в своем доме царя сбывалась. Государь принял приглашение отобедать у Сипягина на новоселье.

Вся хозяйственная часть министерства приведена была в действие. Управляющий ею Григорьянц рыскал по городу, разыскивая розы для убранства стола. Из Астрахани была выписана салфеточная икра к горячим калачам, из Рыбинского – шекснинские стерляди и из Москвы – цыганский хор. Но как раз накануне торжественного дня полоумный мальчишка Балмашев выстрелом из револьвера смертельно ранил Сипягина в приемной Мариинского дворца. Его перенесли в Максимилиановскую лечебницу. Умирая, он выразил желание видеть государя и проститься с ним. П. Н. Дурново поехал в Зимний дворец, но, пока успел доложить о случившемся, Сипягин скончался.

П. А. Столыпин

Петр Аркадьевич Столыпин был в нашей государственной жизни явлением новым. Он первый сумел найти опору не только в силе власти, но и в мнении страны, увидевшей в нем устроителя жизни и защитника от смуты. В лице его впервые предстал перед обществом вместо привычного типа министра-бюрократа, плывущего по течению в погоне за собственным благополучием, каким их рисовала молва, новый героический образ вождя, двигающего жизнь и увлекающего ее за собой. И эти черты были действительно ему присущи.

Высокий рост, несомненное и всем очевидное мужество, умение держаться на людях, красно говорить, пустить крылатое слово – все это, в связи с ореолом победителя революции, довершало впечатление и влекло к нему сердца.

Никому из крупных предшественников Столыпина: ни Сипягину, ни Плеве, ни Дурново – нельзя отказать ни в личном мужестве, ни в спокойном достоинстве, с которым они встречали смерть, ежечасно глядевшую в глаза, ни в готовности жертвовать собой ради долга. Дурново к тому же был выше Столыпина и по уму, по заслугам перед Россией, которую спас в 1905 году от участи, постигшей ее в 1917-м. Но ни один из них не умел, подобно Столыпину, облекать свои действия той дымкой идеализма и самоотречения, которая так неотразимо действует на сердца и покоряет их. И кривая русская усмешка, с которой встречалось прежде всякое действие правительства, невольно стала уступать место уважению, почтению и даже восхищению. Драматический темперамент Петра Аркадьевича захватывал восторженные души, чем, быть может, и объясняется обилие женских поклонниц его ораторских талантов. Слушать его ходили в Думу как в театр, а актер он был превосходный.

Столыпин был баловень судьбы. Все то, чего другие достигали ценою бесконечных усилий и загубленного здоровья и что приходило к ним слишком поздно, все это досталось ему само собой, и притом вовремя и в условиях наиболее для него благоприятных. Достигнув власти без труда и борьбы, силою одной лишь удачи и родственных связей, Столыпин всю свою недолгую, но блестящую карьеру чувствовал над собой попечительную руку Провидения. Все складывалось для него как-то особо благоприятно, и даже физические недостатки и несчастия и те шли ему на пользу. Короткое дыхание – следствие воспаления легких – и спазм, прерывавшие речь, производили впечатление бурного прилива чувств и сдерживаемой силы, а

искривление правой руки – следствие операции костного мозга, повредившей нерв, – придавало основание слухам о том, что он был ранен на романтической дуэли; наконец, взрыв на даче на Аптекарском острове и тяжелое ранение детей, которые как бы пали жертвой его преданности долгу, привлекло к нему со всех сторон широкие симпатии сострадания.

К власти Столыпин пришел в то самое время, когда революция, охватившая окраины, а отчасти и центр России, была уже подавлена энергией П. Н. Дурново, а поднявшаяся против нее волна общественного порыва только еще нарастала. И эта волна сразу вознесла Столыпина на огромную высоту, с которой он и себе, и другим казался великаном. И сознание это бодрило и окрыляло его.

Самая смерть застигла его наверху удачи, власти и влияния, в обстановке совершенно исключительной, и как раз накануне дня, когда его положение должно было пойти на убыль. Он был убит в Киеве, матери городов русских, в крае, только что возвращенном им к сознательной национальной жизни и полном благодарных чувств. Он пал от рук предателя-еврея в торжественном собрании, на глазах царя и всей России, и, смертельно раненный, благословляющий ослабевшей рукой государя, был вынесен из зала под звуки народного гимна. Вся Россия провожала его до могилы, и погребен он был в ограде Киевской лавры, рядом со старыми борцами за русское великодержавие – Кочубеем и Искрой. Такой смерти и таких похорон не удостоился никто из его предшественников и вообще никто из правительственных лиц России.

А между тем, останься он жив, и судьба его была бы, вероятно, иная. Звезда Столыпина клонилась уже к закату. Пять лет тяжелого труда подорвали его здоровье, и под цветущей, казалось, внешностью он в физическом отношении был уже почти развалиной. Ослабление сердца и Брайтова болезнь[61], быстро развиваясь, делали свое губительное дело, и если не дни, то года его были сочтены. Он тщательно скрывал свое состояние от семьи, но сам не сомневался в близости конца.

С другой стороны, и положение его к тому времени пошатнулось, смута затихла, а с успокоением ослабевало и то напряжение общественного чувства, которое давало отпор Столыпину. Политика его создала немало врагов, а попытка затронуть особое положение дворянства в местном управлении, которую он, правда, не решался довести до конца, подняла против него и такие слои, которые имели большое влияние у престола; приближенные государя открыто его осуждали. Давление, которое Столыпин производил на государя в дни, когда

решался вопрос о его отставке, в связи с провалом в Государственном совете закона о земстве в западных губерниях, не могло не оставить осадка горечи и обиды в душе государя. Повышенная же настойчивость, которую он привык проявлять в отношении к верховной власти, укрепляла это настроение. Наконец, и в политике своей Столыпин во многом зашел в тупик и последнее время стал выдыхаться.

Предстояло медленное физическое угасание, потеря сил и способности работать, а весьма возможно, и утрата власти, и горечь падения. Соперники – и какие соперники! – начинали уже поднимать голову из разных углов. Предстояло увидеть, как другой человек сядет на место, которое он привык считать своим, и другая рука, быть может, рука ничтожного человека, одним презрительным движением смахнет все то, что он считал делом своей жизни. Для такого самолюбивого человека, как Столыпин, эта мысль была хуже смерти. И потому смерть принесла ему избавление.

Что касается политики Столыпина, то она не была так определенна и цельна, как принято думать, а тем более говорить. Она проходила много колебаний, и принципиальных, и практических, и в конце концов разменялась на компромиссах.

В Петербург Столыпин приехал без всякой программы в настроении, приближавшемся к октябризму. Известен был его отказ, в бытность саратовским губернатором, принять меры к правительственной агитации среди крестьян, избранных от этой губернии в члены Первой Государственной думы, и те несколько таинственные обстоятельства, при которых получило огласку в губернии содержание секретного письма, посланного ему по этому поводу П. Н. Дурново через А. А. Лопухина.

Первое время своего министерства он был очень скромен, почти робок в непривычном ему служебном мире. Став председателем Совета министров, он старался привлечь к себе общественные элементы, на которые привык опираться в Саратове, хотел видеть в должности управляющего делами Совета общественного деятеля Н. Н. Львова. Отказался он от этой мысли, узнав, что должность эта была значительно понижена в ранге и правах по сравнению с соответствующей ей ранее должностью управляющего делами Комитета министров; предлагать Н. Н. Львову положение чисто бюрократическое он не находил возможным. Затем, после неудачных попыток сговориться с другими общественными деятелями и привлечь их в состав кабинета, особенно же после впечатления, произведенного взрывом на даче, Столыпин повернул направо, а затем под влиянием близких к нему людей склонился к национальной

политике и держался этого направления до конца.

В области идей Столыпин не был творцом, да и не имел надобности им быть. Вся первоначальная законодательная программа была получена им в готовом виде в наследство от прошлого. Не приди он к власти, то же самое сделал бы П. Н. Дурново или иной, кто бы стал во главе. Совокупность устроительных мер, которые Столыпин провел осенью 1906 года, в порядке 87-й статьи Основных государственных законов, представляла собой не что иное, как политическую программу князя П. Д. Святополк-Мирского, изложенную во всеподданнейшем докладе от 24 ноября 1904 года, которую у него вырвал из рук граф С. Ю. Витте, осуществивший часть ее в укороченном виде, в форме указов 12 декабря того же года. В частности, предусмотренное программой Святополк-Мирского упразднение общины и обращение крестьян в частных собственников, так называемый впоследствии закон Столыпина, был получен им в готовом виде из рук В. И. Гурко. Многое другое – законопроект об устройстве старообрядческих общин, об обществах и союзах, проект переустройства губернского и уездного управления и полиции – Столыпин нашел на своем письменном столе в день вступления в управление Министерством внутренних дел. Оставалось лишь принять или отвергнуть их. И Столыпин принял и, в большей части, провел.

Сохранил он и основной недостаток полученной в наследство программы устроения России – отсутствие в ней мер к усилению защиты государственного строя от посягательств и потрясений. Он полностью разделил в этом отношении ошибку предыдущих реформаторов (князя [Святополк-]Мирского и графа Витте), полагавших центр тяжести в удовлетворении общественного мнения и видевших гарантии порядка не столько в организации и усилении власти, сколько в идеях и поддержке общества. Все попытки, не раз возобновлявшиеся, встать на путь органического переустройства аппарата власти успеха не имели. Он боялся пойти вразрез с настроениями в Думе и оттягивал решение; дело это свелось к разработке проекта переустройства полиции, вытекавшего еще из работ комиссии графа А. П. Игнатьева (1904–1905 гг.), да и тот осуществления не получил. В результате по уходе Столыпина Россия осталась при той же архаичной и бессильной администрации и при том же несовершенстве средств внутренней охраны, как и в момент его появления на государственном поприще. И даже земельная реформа оказалась построенной на песке, так как не было власти, способной охранить новый порядок и дать ему время подняться на степень действительного оплота государственности.

Полицейская защита порядка в столице империи по-прежнему была в пять раз менее действенна, чем в столице Франции, и в семь раз слабее, чем в столице Англии. В результате при первом порыве революционной бури столица оказалась во власти безоружных почти толп запасных солдат и черни, и в наступившем параличе власти рушился весь государственный строй, а с ним и все результаты земельной реформы. Хуторяне и отрубники были лишены своих владений при молчаливом одобрении масс сельского населения, не успевших еще воспользоваться землеустройством.

То же, что возникло впоследствии как бы из личного почина Столыпина: законы о Финляндии, закон об образовании Холмской губернии – могут считаться, первый по существу, второй по форме и способам проведения, не только излишними, но и прямо вредными мерами. Впрочем, и тут Столыпин был не самостоятелен, а действовал под давлением обстоятельств. Финляндские законопроекты были выдвинуты группой влиятельных финноведов, образовавшейся в сферах задолго до появления Столыпина у власти. Проект же земства в западных губерниях возник в результате настояний национальной группы Государственной думы, на которую Столыпин опирался и которой ядро состояло из русских помещиков западного края.

Закон о Холмской губернии явился результатом компромисса между планом областного устройства России, выработанным в 1907–1908 годах, предполагавшем в будущем возможность автономии Польши и ее государственного отграничения от России, и настояниями холмского духовенства во главе с епископом Евлогием, нашедшим способ заинтересовать этим вопросом государя. Во многом Столыпин отступил при первом же сопротивлении, угрожавшем его положению у престола, от первоначально усвоенной программы. Наиболее резким примером является судьба проекта преобразования губернского и уездного управления, который был провозглашен очень торжественно, с созывом для сего впервые Совета по делам местного хозяйства – этого, по выражению Столыпина, «преддумья» – и от которого он тотчас же отказался, как только столкнулся с оппозицией объединенного дворянства. Нельзя, конечно, и ставить эти колебания в вину человеку, который всю предшествовавшую служебную жизнь провел в кругу местных интересов и отношений и сразу, без всякого перехода, попал в водоворот событий государственного значения, притом в такое смутное и напряженное время. Многое следует отнести и на долю утраты равновесия духа – следствие ослабления здоровья и разочарования в связи с политическими неудачами последнего

периода.

Страстная натура Столыпина, склонная всегда к некоторому преувеличению защищаемой темы, и слабость, которую он питал к аплодисментам и успеху, побуждали его к увлечению выигрышными вопросами, не имевшими действительного государственного значения. Отсюда и острота, которую он придал своей неудаче в деле проведения закона о земстве в западном крае, и необычные меры воздействия на своих противников в Государственном совете, П. Н. Дурново и В. Ф. Трепова, которые он исторг у государя, что в корне испортило его отношения и с Государственным советом, и с Государственной думой.

Но не в идейном творчестве заключалось значение Столыпина. Оно лежало, прежде всего, в области государственной психологии – создания атмосферы, благоприятной правительству и его начинаниям. Блеском своего таланта и обаянием своей личности, умением идеализировать свою деятельность, поднимать идеи на пьедестал Столыпин вдохнул жизнь в завещанную прошлым программу устроения России, сумел освоить ее и слить со своей личностью. Он сумел привлечь к своей деятельности доверие общества, втянуть его в орбиту своих мыслей, создать в глухой провинции, вне поля зрения официального Петербурга, новую общественность, ставшую для него опорой. Он первый внес молодость в верхи управления, которые до тех пор были, казалось, уделом отживших свой век стариков. И в этом была его большая и бесспорная государственная заслуга.

Столыпину удалось то, что не удавалось ни одному из его предшественников. Он примирил общество, если не все, то значительную часть его, с режимом. Он показал воочию, что «самодержавная конституционность» вполне совместима с экономической и идейной эволюцией и что нет надобности разрушать старое, чтобы творить новое.

И как бы ни расценивать Столыпина, одно бесспорно, что он работал для будущего России, и не какой-нибудь, а России великой, и немало успел для этого сделать. Он разрушил общинный строй, так много вреда приносивший современной ему России, открыв выход для накопившихся в крестьянстве деятельных сил, и направил их на путь хозяйственного развития и нравственного укрепления. Он разрушил тем и главную преграду – обособленность прав, отделявшую крестьянские массы от слияния с остальными слоями народа в одно национальное целое. Он правильно понимал значение заселения Сибири и деятельно его поддерживал. На тучном черноземе сибирских полей, где народ наш завершал свой исторический путь на Восток,

«навстречу солнцу», вдали от отравленных социальной завистью равнин старой России, он стремился вырастить новые, более здоровые поколения бойцов за русское великодержавие в тех европейских столкновениях, грозный призрак которых уже надвигался. Он укрепил нравственные устои престола и дал мощный толчок развитию национального сознания.

В лице его сошел в могилу последний крупный борец за русское великодержавие. Со смертью его сила государственной власти в России пошла на убыль, а с нею покатилась под гору и сама Россия.

notes

Примечания

1

Ныне окрестности города Хелма в Люблинском воеводстве Польши.

2

Заместителя.

3

Имеется в виду создание законодательной базы для организации первого в России учреждения парламентского типа – Государственной думы и проведение первых избирательных кампаний.

4

Владимир Петрович Мещерский – князь, имевший придворный чин камергера, редактор и издатель влиятельной газеты «Гражданин», выражавшей крайне правые политические взгляды.

5

Александр Иванович Дубровин – врач, один из организаторов и первый председатель националистической организации «Союз русского народа».

6

Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомства – следственный орган, учрежденный Временным правительством после Февральской революции 1917 г.

7

С. К. Глинка-Янчевский был автором двух книг (а не брошюр) полемического характера – «Пагубные заблуждения. По поводу сочинений К. Ф. Халтурали „Право суда и помилования как прерогатив российской державности“» (СПб., 1899) и «Во имя идеи» (СПб., 1900). Обе работы были посвящены вопросам законодательства и не имели широкого резонанса в обществе.

8

Министр внутренних дел В. К. Плеве погиб от взрыва бомбы, брошенной террористом, в июле 1904 г. Упомянутый разговор автора с А. А. Лопухиным происходил через несколько месяцев после смерти министра и нарушал русскую традицию не говорить о покойных плохо.

9

Братья императора Александра III, правящему императору Николаю II приходились дядями. Великий князь Владимир Александрович в указанный период занимал посты главнокомандующего войсками гвардии и командующего Санкт-Петербургским военным округом, являлся членом Государственного совета. Великий князь Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы и также членом Государственного совета.

10

Э. В. Фриш – статс-секретарь, член Государственного совета (с 1906 г. председатель).

11

Граф Д. М. Сольский – глава Департамента государственной экономии Государственного совета (с 1905 г. председатель).

12

А. С. Танеев – главноуправляющий Собственной его императорского величества канцелярией, член Государственного совета. Отец Анны Вырубовой, придворной дамы и ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны.

13

Роковую роль в карьере князя П. Д. Святополк-Мирского сыграло не описанное совещание, а его позиция в момент так называемого Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. Он принял решение о разгоне ожидавшихся рабочих демонстраций силой и вместе с военными разрабатывал диспозицию войск, размещенных в столице. Побывав накануне роковых событий в Царском Селе, где находился император Николай II, Святополк-Мирский постарался представить ситуацию в успокоительном ключе. Когда наутро многотысячные толпы двинулись к Зимнему дворцу и не останавливались, несмотря на все предупреждения, войска в разных частях города произвели залпы, что привело к кровопролитию. Обвинили в трагедии императора, хотя его даже не было в Санкт-Петербурге в тот день. Однако события 9 января 1905 г. стали катализатором первой русской революции. 10 января П. Д. Святополк-Мирский подал в отставку и 18 января 1905 г. был уволен с должности министра внутренних дел. Согласно дневнику его супруги, княгини Е. А. Святополк-Мирской, опубликованному в журнале «Исторические записки» в 1965 г., бывший министр оправдывал сам себя тем, что вожаки шествия шли с угрозой и допустить 150-тысячную толпу в центр города к царскому дворцу было невозможно.

14

А. В. Кривошеин – в указанный период один из старших чиновников МВД, позже стал членом Государственного совета и товарищем министра финансов, а с 1908 г. главноуправляющим землеустройством и земледелием.

15

Ф. Д. Самарин – член Государственного совета, видный славянофил.

16

Высочайший указ от 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» предусматривал введение большей части предложений, выдвинутых в упомянутом «докладе Святополк-Мирского», правда, о разрабатываемых мерах говорилось в общей форме. Предусматривались меры по устроению крестьянской жизни, расширение прав земских и городских учреждений, сокращение применения положений об исключительной охране и стеснению прессы, введению начал религиозной терпимости, разработка системы государственного страхования рабочих и т. д. Пункт о привлечении выборных от населения в состав Государственного совета в указе отсутствовал, поэтому вопрос, в каких учреждениях и как они должны работать, остался открытым.

17

Манифест «Об учреждении Государственной думы», законодательный акт «Учреждение Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу» были опубликованы 6 августа 1905 г., но, согласно этим документам, Дума получала только статус «законосовещательного органа». Законодательные права Государственной думе были предоставлены только после манифеста от 17 октября 1905 г.

18

М. О. Меньшиков – гидрограф, журналист и общественный деятель. Один из идеологов Всероссийского национального союза и организаторов Союза по борьбе с детской смертностью. Сотрудничал с газетами «Новое время», «Неделя» и др., был редактором и издателем журнала «Письма к ближним». Расстрелян большевиками в 1918 г.

19

Гмина – низшая административная единица в царстве Польском. Гминные суды существовали в Польше с XV в., но юридически значение их было ничтожно, так как ограничивалось рассмотрением самых мелких дел – об убытках и потравах стоимостью до 100 рублей (до 1865 г. – до 30 рублей) и административных проступках с налагаемым штрафом до 10 рублей, арестом до 7 дней или просто выговором.

20

Кабинет министров был учрежден в 1802 г. и действовал более века, но это не было единое правительство империи в современном понимании – министры были независимы, каждый отвечал только за деятельность своего ведомства, отчитываясь перед императором, и весь Комитет не отвечал за деятельность отдельных министров. С 1861 г. наряду с Кабинетом министров существовал и Совет министров, рассматривавший дела в личном присутствии императора. Но круг его задач был неопределенным, и заседания созывались редко и нерегулярно. Совет министров был воссоздан в новом виде по именному высочайшему указу от 19 октября 1905 г. как высший исполнительный орган Российской империи. Кабинет министров продолжал действовать еще полгода и был распущен только 23 апреля 1906 г. После Февральской революции 1917 г. Совет министров был заменен Временным правительством.

21

В. Д. Кузьмин-Караваев – в 1905 г. профессор Военно-юридической академии, генерал-майор, земский деятель. Брат генералов Д. Д. и А. Д. Кузьминых-Караваевых.

22

Д. Н. Шипов – славянофил, один из лидеров земского движения. Брат атамана Уральского казачьего войска, генерал-лейтенанта Н. Н. Шипова.

23

Власть короля абсолютна, если он исполняет нашу волю (*нем.*).

24

Из-за разгула террора в 1905 г. С. Ю. Витте очень опасался за свою жизнь. Получив приглашение от императора переехать в запасные покои Зимнего дворца, Витте с удовольствием этим воспользовался, мотивируя переезд тем, что во дворце проще организовать надежную охрану, чем в особняке графа на Каменноостровском проспекте.

25

М. А. Стахович – либеральный политик, земский деятель, один из организаторов «Союза 17 октября» в 1905 г.

26

С. А. Муромцев – профессор Московского университета, правовед, один из основателей Конституционно-демократической партии, с октября 1905 г. – член ее ЦК. В 1906 г. первый председатель Государственной думы.

27

С. Н. Трубецкой – профессор, а в 1905 г. ректор Московского университета, религиозный философ, земский деятель. Во время революционных студенческих беспорядков 22 сентября 1905 г. Московский университет был временно закрыт, и тяжело переживавший происходящее князь С. Н. Трубецкой через неделю скоропостижно скончался на приеме у министра народного просвещения от кровоизлияния в мозг.

28

С. А. Муромцев, консультируясь с ведущими юристами из числа лидеров Конституционно-демократической партии, разработал так называемый Думский наказ, в котором изложил требования оппозиционной общественности к устройству Думы.

29

В. А. Бобринский – политический и общественный деятель правого толка, благотворитель, монархист, член Всероссийского национального союза. Трижды избирался депутатом Государственной думы; в 1916 г. был избран товарищем председателя Государственной думы.

30

А. П. Игнатьев – генерал от кавалерии, занимал посты иркутского и киевского губернаторов, с 1896 г. член Государственного совета. Был решительным противником созыва Государственной думы, предоставления льгот печати и прочих политических новшеств. В декабре 1906 г. присутствовал на губернском собрании в Твери, где был застрелен террористом.

31

Ругой с древности (в IX–XVI вв.) называлось пожертвование русских князей безземельным церквям и монастырям, выдававшееся деньгами, хлебом, воском, солью и т. д. Постепенно ругой стали называть также и переданные церковным учреждениям земли «на прокорм причта», о владении которыми выдавалась ружная грамота. Ружные земли таким образом закрепились за церковным причтом на века.

10 рублей суточных выплат, то есть 300–310 рублей в месяц, были большими деньгами для простого человека. Квалифицированные рабочие в начале XX в. получали 40–50 рублей в месяц, жалованье мастера могло доходить до 100 рублей, старшему дворнику платили около 40 рублей, но для этого надо было сделать карьеру и иметь много различных обязанностей, вплоть до оказания помощи правоохранителям; горничная в хорошем доме могла рассчитывать на 10–12 рублей в месяц, причем поступить в услужение считалось для крестьянских девушек делом весьма выгодным.

33

Курятная – лавка, торгующая курятиной и другой домашней птицей.

34

Все три указанных лица – В. Д. Набоков, Ф. И. Родичев, И. И. Петрункевич – видные деятели Конституционно-демократической партии, были избраны в Государственную думу первого созыва.

35

А. Ф. Аладьин – политический эмигрант, бежавший из ссылки за границу в 1897 г. Через два месяца после амнистии, объявленной в октябре 1905 г., вернулся в Россию, выступал на митингах, вступил в боевую дружину. В 1906 г. был избран в Государственную думу, стал одним из организаторов фракции трудовиков и популярным думским оратором. После разгона Первой Думы жил в эмиграции, в начале Первой мировой войны просил русское посольство в Лондоне о разрешении на выезд в Россию, но получил отказ. Вернулся в Россию летом 1917 г., после Октябрьской революции примкнул к Белому движению, эвакуировался с Белой армией из Крыма, снова оказался в эмиграции и скончался в Лондоне в 1927 г.

36

Ф. М. Онипко – сельский волостной писарь, был избран депутатом Первой Государственной думы, примкнул к трудовикам и редактировал газету «Трудовая Россия» (получив образование в церковно-приходской школе и сдав экстерном экзамен за курс городского училища). В 1906 г. был направлен партией эсеров в Кронштадт для организации восстания, попал под суд, в 1907 г. был отправлен в ссылку, но бежал, эмигрировал и жил в Париже. В годы Первой мировой войны вступил добровольцем во французский Иностранный легион, получил тяжелое ранение. После Февральской революции вернулся в Россию, был комиссаром Временного правительства на Балтийском флоте. После Октябрьской революции якобы перешел к террору против советской власти, но на процессе правых эсеров 1922 г. был объявлен «не разысканным обвиняемым». В 1925 г. публично покаялся перед советской властью, был прощен, но в 1937 г. ему вспомнили прошлое. Онипко был репрессирован и в 1938 г. расстрелян.

Следует напомнить, что А. Ф. Керенский с 1904 г. был официально женат на Ольге Барановской, дочери генерала; у супругов было двое сыновей, 1905 и 1907 г. р.

38

В. Н. Коковцов – в указанный период министр финансов, с 1911 г., после гибели П. А. Столыпина, занимал также пост председателя Совета министров. Вышел в отставку в 1914 г., покинув состав правительства; до 1917 г. являлся членом Государственного совета и сенатором.

39

Около 200 депутатов, прежде всего кадеты и трудовики, узнав о роспуске Государственной думы, который стал для них сюрпризом, выехали в Выборг и составили там воззвание «Народу от народных представителей» с призывами к протестам и гражданскому неповиновению. Под Выборгским воззванием поставили подписи 180 депутатов. Позже «подписанты» попали под суд, были приговорены к небольшим срокам тюремного заключения (на 3 месяца) и лишены избирательных прав. Во второй состав Думы они баллотироваться уже не могли.

40

И. Г. Щегловитов – министр юстиции в 1906–1915 гг. В 1918 г. был взят в заложники в рамках красного террора и публично казнен во внесудебном порядке.

41

Квиетизм – религиозное течение в католицизме, приверженцы которого культивируют мистико-созерцательный взгляд на мир и моральную индифферентность.

42

Имеются в виду мемуары В. Д. Набокова «Временное правительство», опубликованные в Берлине, в 1-м томе «Архива русской революции» в 1921 г., и в 1924 г. выпущенные в Советской России отдельной книгой.

43

Древнерусский город Холм в XIV в. был захвачен Польшей и стал центром Русского воеводства Польского королевства. В 1795 г. его заняла Австрийская империя, и до 1809 г. он считался владением Габсбургов. При переустройстве Европы после Наполеоновских войн Холм был включен в состав царства Польского и с 1815 г. находился под властью Российской империи. В 1912 г. была образована Холмская губерния Российской империи. В период Первой мировой войны был оккупирован немецкими и австрийскими войсками, как и другие территории Польши, а с 1918 г. оказался в составе независимой Польши с названием Хелм.

44

Город Ковно – ныне Каунас, Литва.

45

Сбором статистических данных в Российской империи занималось Министерство внутренних дел, выпуская ежегодные сборники сведений, поэтому улучшение статистической части было в числе прямых должностных обязанностей министра внутренних дел.

46

Дело Д. В. Каракозова, революционера-террориста, совершившего в 1866 г. покушение на императора Александра II у входа в Летний сад, где император имел привычку прогуливаться.

47

В. М. Пуришкевич – один из лидеров монархистов, с 1904 по 1907 г. занимал ряд должностей в Министерстве внутренних дел: чиновника для особых поручений при министре, в Хозяйственном департаменте и в Управлении по делам печати.

С. Е. Крыжановский скончался в 1935 г., не дожив до Второй мировой войны и разоблачения подлинной деятельности итальянских фашистских организаций, да и проживал с 1920 г. во Франции, а не в Италии, зная о фашистах лишь понаслышке, поэтому воспринимал их идеалистически.

49

С. Е. Крыжановский с октября 1911 г. занимал должность государственного секретаря, возглавляя Государственную канцелярию Российской империи.

50

Э. Б. Кригер-Войновский – инженер-железнодорожник, в годы Первой мировой войны – начальник Управления железных дорог в Министерстве путей сообщения, с апреля 1916 г. – товарищ министра путей сообщения, в конце декабря 1916 г. был назначен на пост министра и стал последним министром путей сообщения Российской империи.

51

И. Ф. Манасевич-Мануйлов – темная личность, близкая к правительственным кругам – журналист, агент Охранного отделения, чиновник Департамента полиции, надворный советник, управляющий канцелярией председателя Совета министров. Был вхож в окружение Распутина, неоднократно разоблачался как взяточник. В 1916 г. попал под следствие и суд, получив крупную взятку мечеными купюрами, но оказался на свободе в ходе Февральской революции 1917 г. В 1918 г. был расстрелян большевиками при попытке незаконного перехода границы.

52

Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства по расследованию противозаконных действий высших должностных лиц Российской империи.

53

В. К. Саблер (с 1915 г. Десятовский) – обер-прокурор Святейшего синода в 1911–1915 гг.

54

Ведомство императрицы Марии было создано супругой Павла I императрицей Марией Федоровной и занималось самыми разными направлениями благотворительной деятельности – помощью сиротам, больным и раненым, малоимущим, учреждениям образования и призрения стариков и т. д. В последние десятилетия существования Российской империи деятельность ведомства курировала супруга Александра III, а с 1894 г., после смерти мужа, вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II. Александра Федоровна, относясь к свекрови с некоторой ревностью, организовала систему своих благотворительных учреждений, отдельных от Ведомства императрицы Марии.

55

Гайтан – специальный шнурок с застежкой, на котором носят крест или ладанку.

В таких мешочках, как правило, носили крупицы земли – из родных мест, с могилы дорогого человека, со Святой земли и т. д. Порой в них мог находиться маленький свиток с молитвой.

Сырть – вяленый рыбец.

58

Шемая – рыба из рода уклеек.

59

Нотабль – во Франции XIV–XVII вв. – почетное лицо из числа дворянства, духовенства или буржуазии, входившее в состав совещательного собрания при короле.

60

«Вестник Европы» – литературно-политический журнал, основанный Н. М. Карамзиным и издававшийся до 1918 г. Носил либеральный характер, печатая труды таких авторов, как К. А. Тимирязев, И. М. Сеченов, И. И. Мечников, С. М. Соловьев, А. Ф. Кони, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Бунин, А. М. Горький и др. Поскольку журнал никогда не считался резко оппозиционным, а был весьма умеренным по своим политическим установкам, остается непонятным, что же вызвало раздражение Д. С. Сипягина.

61

Болезнь Брайта – заболевание почек, острый или хронический нефрит.